

Иоланта Сержантова

Чистые
воды
бытия

Иоланта Сержантова
Чистые воды бытия

«Автор»

2024

Сержантова И. А.

Чистые воды бытия / И. А. Сержантова — «Автор», 2024

Сборник прозы составлен из рассказов, новелл и эссе. Зарисовки о природе Родины, о родных людях, ради которых совершаются добрые поступки. Умение быть благодарным тем, кто тебя вырастил, о достоинстве и памяти. Чистые воды бытия омывают берега жизни, которая сама по себе или рассказ, или новелла, или эссе.

© Сержантова И. А., 2024

© Автор, 2024

Содержание

Чужая боль	6
Снежный ангел	7
Февраль и сойка	8
Рукопожатие	9
Бабушка, моя...	11
Праздник	12
Родня	13
По душам	14
Успеешь ли ты...	16
Под цвет летних облаков	17
А покуда – февраль...	19
Всякому – своё...	21
То решать не нам...	22
Праздник нового дня	23
Москвичи	24
Не насовсем	26
Чистые воды бытия...	27
То ненадолго...	28
В мечтах...	29
С драгоценной улыбкой зари...	30
Неспроста	31
И не оставит следа...	32
Не всем...	34
Брат Колька	35
Не она...	37
До самого конца....	38
В четыре руки	39
Место встречи у всех одно...	40
Мы были советскими...	41
Немного перца	43
В самый раз	44
Дачники	45
В ожидании весны	47
Люк	48
Без весны	50
Сосна	51
На все времена	52
Не для себя	53
Струны	54
Будем!	55
Чёрно-белое кино	56
Новая старая жизнь	58
Весь в розовом рассвет...	60
Для отдыхающих...	61
Я учусь...	64
Случайная встреча	65

Любовь	66
Что бы он мог...	67
Гонка	68
Само по себе...	70
Красивые люди	71
Радовать собой	72

Иоланта Сержантова

Чистые воды бытия

Чужая боль

Прилипло семечко хмеля ко гладкому обветренному лбу сугроба, чудится не иначе, как золотым крылышком стрекозы¹. А и птица ли обронила его по рассеянности или брошено в зиму обиженным на судьбу летом по злобе, на манер сдёрнутой с руки перчатки.

С чего та досада, угадать немудрено, – что кончилось лето скоро и внезапно. Да вот уж и зиме почти что конец, сочтется оттепелью февраль. Роняет прозрачные чистые звуки с барабанных палочек сосуллек. Последний месяц зимы, понятно, слезлив, ибо стар. Также, как у людей, когда и далёкий от дряхлости тает сердцем во всякий час.

Разлинованное наметни серыми струями дождя небо теперь чисто, но земля, неприбранная покуда солнцем, вся в кляксах луж и вымоченных, скомканных промокашках сугробов.

Ветер, растроганный отчего-то, утеравши значительную часть холодности, нянчится с лесом, терпеливо и прилежно зачёсывая набок влажные пряди его ветвей, но солнце, не умея следовать стороннему порядку, мешается и принимается хозяйничать по-своему. Но всё выходит у него как-то не слишком ловко, на диво неумело: счищая побелку снега с деревьев, заодно роняет с них пушистые шарфы мха, портит, надрывая, карманы коры, а то губит и само дерево. Иному тяжело стоять в набрякших от воды одеждах, не держат ноги. Только и успевает воскликнуть сипло: «Побереги-и-ись!», а дальше уже не его забота, подневолен.

Ветер, наломавший за свою жизнь немало дров, бежит прочь, дабы не испортить насовсем, не растратить на сострадание постигшее его перед тем умиление. Но всё одно нагнал тот вопль его рассудок, и не ускользнуло от взгляда царапанье о соседние стволы цепких пальцев тонких веточек, кой ломались в лишённой сознания, последней из напрасных попыток удержаться.

Из того, что после, – пробитая до зелёной травы перина снега, и земля трепещет сильнее от нервности собственных своих недр. Впрочем, мнилось февралю, – ему куда как хуже, он всех прочих короче. Тех, которые по другую сторону календаря.

Оно и понятно. Эдак-то повсегда так – чужая боль кажется меньше, чем своя.

¹ лат. *Sympetrum uniforme*

СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ

– Ну, я же тебе говорил! Надо было просто по-про-сить! Раз только стукнуть по стеклу, и вся недолга. Зря ты меня останавливал, давно б уж не метались от двора ко двору, в поисках, да не мёрзли б понапрасну.

– Он что, не знает, какой теперь месяц и не выходит во двор? Или, даже если так, в окно-то выглядывает иногда!

– Судя по тому, что я понял, у него что-то стряслось и с тех пор он смотрит только внутрь себя.

– Это гадко. Он должен сознавать свою ответственность. Насыпав однажды горсть крошек на свой подоконник, он вправе не делать этого лишь в единственном случае!

– Боюсь спросить, в каком...

...Опутанный венами виноградной лозы, дом выглядел измождённым, подстать его обитателю, что, прислушиваясь к разговору птиц, плавился на адском костре совести.

– Как я мог позабыть про них?! Птахи... они ж не виноваты. Было б мне промеж стеной и припадков самобичевания отворить окошко, да протянуть руку на просвет. Небось, не истончило б это моей скорби. – казнилса он, глядя, как небо развешивает стиранные простыни снегопада.

Не шутя называя себя последними словами, он вслушивался в песнь ветра, кой крутился подле дома и сочувственно гудел. Сметая сугробы с сосен, ветер притомился и отступил, так что вскоре деревья стали похожи на сахарные головы, из уютного чрева которых раздавались чириканье воробьёв и писк синиц.

Там же, прикинув к стволам, оставались невредимы нежилые с весны гнёзда, с торчащими из них сухими веточками, на манер птичьих лап.

Ещё не рассвело, как подоконник был уже густо посыпан зерном и крошками, сахарные головы дышали через снеговые дупла, что споро смастерили синицы, а на единственной, вытянутой в сторону ветке сосны раскачивался белоснежный ангел.

Почудившись сперва рождественский украшением, чьей-то доброй проделкой, он был сотворён, как и положено, из ничего, но излучал спокойную, простую житейскую радость, заставляя сердце биться ровно.

И пускай оттепель сняла игрушку уже к следующему утру, она, всё одно – б ы л а !... добрым знаком, о котором молчат, но уповают на его поддержку, привычно сетуя на собственные рассудок и удачливость.

– Ну, я же тебе говорил! Надо было просто по-про-сить!

Февраль и сойка

Как не ныл и не куксился февраль, что он озяб, и тошно ему от самого себя, и причитающееся ему по чину уже истрачено загодя умолившим его дать займы январём, а самому жить в долг, – так он не привык, верилось лютому с трудом. Впрочем, в самом деле, у кого, позвольте, ему просить? Не у марта ж! Тому не до чего. Зима отступится, и схлынет вместе с тальми водами, а марту, покрывая, не им взятое наперёд, ответственность за отсутствующих, сдавая в подземные кладовые вороха снежного тряпья, да слитки льда, будто серебра.

Плакался февраль, и так правдиво, что нельзя было не внять и той мольбе из очей, и гримасе страдания, и съехавшим, раскисшим на сторону от плача губам.

Не тая ухмылки или даже злорадства, по насту вдоль дороги скакала сойка, прищипывая время от времени сухую корку снега к земле, дабы не сползла, обнажив неровного края или какой нечистоты. До проходящих и проезжающих птице не было никакого дела. Давно уж сменила она детский карий глаз на небесный², умеет истолковать верно, от кого ждать беды. Мяукнуть когда или шумнуть навроде стука топора по полену.

Хорошего сойка не ждёт, но и не бежит, коли кто к ней по-доброму. Дозволит разглядеть поближе, попусту вредничать не станет, не в её характере.

А отчего та сойка шерится на февраль? Так от того, что пересмешница, любит она подразнить тот месяц, да не имея собственной песни, поёт с чужого голоса: то будто капает с крыши вода, то скрипят неведомо чьи шаги, а то и тянет ноту за лесом, сколь хватает дыхания.

² радужная оболочка глаз у птенцов и молодых соек с возрастом меняется на голубую

Рукопожатие

Волнение на море в девять баллов по шкале Бофорта³ казалось игрой. Мы ровесники, мне тоже девять, как и ему, так чего ж переживать из-за пустяков. Хотя, кроме капитана судёнышка, его помощника и меня самого, все, включая команду, позеленели с лица под цвет волн и жестоко страдали от качки.

Капитан верной рукой вёл судно по курсу, стараясь, чтобы его не развернуло бортом к волнам, гребни которых плевались солёной пеной с досады, мешая разглядеть тех, что торопились обрушиться следом. Помощник капитана разносил болезненным бумажные пакеты, и с удивлением, даже с восторгом поглядывая в мою сторону. «Мудьюг», так называлось судно, вышел из порта Кеми и направлялся в сторону Большого Соловецкого острова почти что в штиль. Но Белое море умеет спутать карты не только тем, которым не нужны карты или лощия, а даже тем, которые умеют найти верную дорогу к берегу по звёздам, по памяти и тому чувству воды, без коего моряк не моряк, а так, сухопутная крыса.

Тем летом солнце поджигало одним только взглядом всё, на что обращало внимание, так что нам не сразу позволили взойти не только на борт «Мудьюга», но даже в порт. В ожидании разрешения переправиться с большой земли на архипелаг, мы целую неделю или немногим дольше, глубоко и коротко спали на скамейках вокзала Кеми, под грохот составов, что толкали друг друга, проверяя надёжность сцепки... Бывало, очередной откинувшийся зек присаживался в ногах без особых церемоний, чем вынуждал принять вертикальное положение. Деликатно кашляя в кулак, он принимался откровенничать, тянулся тронуть собеседника за лицо той же влажной от кашля ладонью, так что приходилось подниматься, и, стыдясь опасения заразиться от него туберкулёзом, придумывать повод, дабы отойти.

И вот, после этого всего, было бы обидно так запросто дать смыть себя волне с палубы в холодную воду.

На всякий случай наша команда облачилась в гидрокостюмы. Моего размера не было, но вместо того, чтобы беспокоиться о таком пустяке, я дерзко глядел морю в глаза, и, сохраняя внутреннее равновесие, переводил взгляд в противоположную крену сторону.

Когда мы, наконец, зашли в укрытую от ветра бухту и пристали к берегу, мне единственному капитан пожал руку, и ... я сохранил его, это рукопожатие. Оно оказалось весомее много из того, что произошло после.

В тумане прошлого затерялся переход с Большого Соловецкого на Большой Заяцкий, необитаемый остров, где не было, кроме нас никого, даже туристов, что спят, выставив на съедение комарам пятки из палаток. Неоткуда было взяться там и зеку с его неизменным покашливанием.

Из смазанного той же влажной мглой, – возвращение на Большой Соловецкий остров, а из того, что там, помнится только, как изо дня в день к нам в келью приходил человек, и уговаривал помочь ему, спасти, выручить... Лишь только он поднимался по лестнице, минуя первый разрушенный этаж с надкусанными временем, пожёванными сыростью, проваленными

³ высота волн 7-10 метров

половицами, амбре выкуренного им прежде табака уже ломилось в дверь кельи вперёд него самого.

– Да поймите вы... – возражал твёрдо, но деликатно безотказный, в общем, руководитель нашей группы, – Это опасно! Мне жаль ребят, сгорят ни за что.

– Мы хорошо заплатим! И в титрах укажем, пофамильно! Там и делать ничего не надо, всего-то – подстраховать под водой, чтобы не утонули.

– И на что потом будут ваши деньги? На похоронить?! Я отвечаю за жизнь людей. Так нельзя. – наотрез отказывался «шеф», после чего визитёр, скрипя кожанкой, будто зубами, уходил. Впрочем, ненадолго. Даже не до следующего съёмочного дня.

Позже я узнал, кто был этот человек. Режиссёр, Владимир Авраамович Роговой, награждённый в сорок четвёртом медалью «За боевые заслуги». Он снимал на Соловках фильм «Юнга Северного флота». По сценарию, краснофлотцы должны были прыгать с макета носа корабля в горящую воду.

Для этого огороженная часть акватории наполовину искусственного, наполовину природного Святого озера у стен Соловецкого кремля была залита керосином и подожжена. За огнём до неба и чёрным дымом было не видно небес, но запал в душу не этот, минувший кинокартину момент, но рукопожатие капитана «Мудьюга», и то, как на прощание он приложил руку к форменной фуражке, в мою честь.

И пусть кто-то скажет, что всё было иначе, в моём сердце прошлое живёт именно таким. Ибо всякое, во что веришь, обретает черты истины, правды, от того-то в воспоминаниях неизменно присутствует доля лукавства, – искреннего, честного неприятия себя таким, каковым ты кажешься другим со стороны.

Бабушка, моя...

Родители, братья, бабушка, дед, – всё это лица нашей Родины, без которых не было бы нас. Вне этого круга, вне их близости и заботы, мы не стали бы собой. Семья, Родина и её природа, это – данность, к которой нельзя свысока и небрежно Обращаться с ними следует бережно, с уважением к их судьбе и жизни больше, чем к своей собственной.

– Ба! Бабуль!

Как славно, когда есть кому отозваться на этот призыв.

Не знаю, была ли бабушка азартной или нет, но каждый месяц со своей крошечной пенсии она покупала один лотерейный билет. Я помню, как мы, отправляясь с нею по магазинам, сперва заходили в сберкасса, где бабушка становилась в очередь, а мне выпадало удовольствие «поиграть во взрослого».

Выудив из коробочки на угловой конторке несколько бланков, я отыскивал стол с чернильницей, полной чернил, и обмакивая в неё перо, скрипел им по бумаге с упоением. Иногда кончик пера разъезжался от усердия, как ноги в коньках на льду, и тогда, пачкая руки, я торопливо чинил пёрышко, сжимая его через бланк, отчего тот рвался и покрывался кляксами.

От родных я знал, что бабушка когда-то была учителем, заведующей школой, и начала свой трудовой педагогический путь в четырнадцать лет. К ученикам она, говорили, была строга и требовательна, я же, хотя никогда ничего такого в отношении себя не замечал, от непорядка, устроенного в сберкассе, всегда спешил поскорее избавиться.

Так что к тому моменту, как бабушке возвращали серую книжицу с отметкой «на сколько порций мороженого хватит», подле меня было почти убрано, даже кляксы на полу. Не думаю, что бабушка наивно верила в то, что оставленный один на один с чернилами и пером, я не шалю и не вывожусь, «как чертёнок», но бранить не бранила, ни разу.

– Идём? – спрашивал я бабушку, но она просила ещё чуточку обождать, и шла к стене с таблицей выигрышных номеров очередной лотереи, где шурилась через очки, отыскивая заветный номер.

И отчего я не догадался спросить – на что он ей, этот выигрыш, чего и сколько ожидает заполучить. Ведь казалось, что бабушке ничего не нужно, всё у неё есть. Кроме, пожалуй, одного, – «лишь бы не было войны», а такого в лотерею, пожалуй, не выиграть...

Четверть века спустя, вместе со своими учениками я ремонтировал обшарпанное до обрешётки под штукатуркой, бывшее помещение сберкассы. Мы обустроивали там парашютный клуб, в котором я был инструктором. Так случилось, – я не сразу понял, что это та самая сберкасса, но узнал и то место, где стояла конторка с бланками, и чернильное пятно на полу, что мне не удалось оттереть однажды, в ту самую пору, когда я «играл во взрослого» под при стальным, но лукавым, в лучиках морщин, взглядом из очереди бабушки, моей.

Праздник

Солнце отёрло пыльное от инея зеркало пруда и заглянуло в него, дабы поправить седые свои извечно влажные букли, что прочим мнятся облаками. И... не показалось нынче себе солнце. То ли в самом деле, то ли по причине недовольства собой, но оно нашло себя не в меру бледным. По нездоровью, либо потому, что по всю зиму отсиживалось взаперти, обложившись серым ватным одеялом мглы, – тут уж без разницы. Итожец был, как говорится, не лицепрятный, налицо.

Дунул ветер понизу, запыллил вновь заледенелый пруд снегом, дабы солнышко не пужалось собственного своего лика, да и говорит:

– А и чего б тебе, светило, было не выйти, прогуляться? Почитай, всю зиму сиднем на печи сживало, сверчков слушало, взаперти с боку на бок оборачивалось. Перины твои, не иначе, свалялись, боками окучены, простыни закручены, покрывала всклокочены, подушки намочены. да не по болезни, что от непосильных напруг с трудами, а по дурости, причинённой леностию с безделием.

– Ух, как ты жестоко рассудил меня, ветерок... – закручинилось солнышко. – Обидно, слов нет, да на правду-то, чай, обижаться – глупым быть. Пожалуй, что прав ты, пора мне вставать, хватит бока отлёживать, думками праздными тешиться. Пришло время и других потешить, и самому развеяться.

Ну, что тут сказать? Как обещало солнышко, так и сделало, да с того самого дня принялось звенеть-позванивать ксилофоном сосулук на рассвете. А после, до самого обеда, завели они моду играть на пару с морозом. Натянет тетиву ветки мороз, даст солнцу приладиться хорошенько, нацелиться в никуда, да так уж стрельнет оно, не приглядываясь, куда полетела стрела. Ибо так хорош звук тетивы, опроставшейся от тягости струны, – гулко, смачно, на весь, понимаешь, лес.

А что то был за день, нам ведомо, нами знаемо, – Ефрем-ветродуй, запечник, защитник сверчков. Православные в десятый день февраля чтут память преподобного Ефрема Сирина, а, дабы не потратить напрасно жизни, заодно уж справляют именины домового. Молока в миску подле печки льют, кренделями сладкими Хозяина⁴ потчуют. Всё честь по чести – как-никак, праздник.

⁴ Домового так кличут

Родня

В искусной, причудливой посудине берегов, под глазурью наста – толстый слой мятной, с перчинкой, карамели льда, а ближе ко дну – не застывшее желе реки с едва ли не замершими в приветственном взмахе лентами водорослей, больше похожими на коричневые палочки, пролежавшие в кофе дольше положенного. Кивают они вослед известному сыздавна течению скорее по привычке, нежели по очевидности его. Сутулая, сдержанная грузом ледостава, прозрачная его спина, будто наваждение: она есть, а вроде бы и нет её. Верная во всегдашней своей торопливости, определённо оставляет после себя лишь ощущение потери, и ничего больше.

Где-то на середине реки, мороз наскоро рубцует рану проруби. Рыбы, имея ту округлость в виду, ни за что не спугают её правильные формы с солнцем, либо луной, что обыкновенно задают тон их бытия, взывая к пробуждению, либо склоняя ко сну.

Ледок в том месте тонок, прозрачен и непрочен. Через круглое скользкое окошко недавней лунки видно исписанное бесхребетными, беззубыми, но велеречивыми и многословными ракушками дно, а вместе с ним – занесённый песком бредень, обронённый по осени. Его бы прямо теперь и добыть из-под воды, – к весне-то вовсе скроет песком, либо снесёт ниже по течению, в объятия первой же коряги. Да только неохота, потому как озябнешь, поди, на морозе, обмочив по локоть руки в ледяной воде. А застудишься, пропустишь, как весна делает первые робкие шаги, из-за которых терпишь, не замечая нарочно, хмарь поздней осени, и зиму, – в той её долгой части, куда не дотягиваются праздники. Там и снега по пояс, и надсада от колки непросохших ещё, душных, дымных поленьев, и, покуда натаскаешь воды из колодца, пролѣшь лишку на ноги не раз.

– Гляди-ка, что за птица?

– Так снегирь!

– А чего не с красной грудкой?

– То у мальчишЕй, а это, вишь, дЕвица.

– Так нет же! У тех девиц, чьи кавалеры в красной рубахе, оно не так!

– И вправду... Как же это?! Неужто к нам сам серый снегирь⁵ пожаловали! Надо же... Из самой Сибири, а то с Дальнего Востока... Каким ветром?! Как?!

– То-то и оно! Но по-любому, красивая птица. Серый снегирь со светлой душой.

– Отчего знаешь?

– Ещё наши предки верили, что снегيري выводят заплутавших в лесной чаще к жилию или дороге, а в Библии писано, как именно он, отважно и сострадательно, обламывал шипы с тернового венца Иисуса.

– Так то, вроде, про красногрудого.

– Какая печаль? Всё одно – родня.

...Под заснеженным серпантинном берегов таилась река, чьё устремление к морю, как к чему-то большему, не могли задержать никакие льды, пусть даже те, пропахшие мятой, что растёт с весны до осени у самой воды.

⁵ лат. *Pyrrhula pyrrhula cineracea*

По душам

Сколько лет я смотрю на улицу через окно? Два года или больше? Было б мне погулять хотя на балконе, но в коляске не переехать того порожка. И что остаётся? Сидеть сиднем, да болтать иногда ногами, дабы вовсе не затекли, ну и думать о своём, о прошлом, о жизни.

Время скрипит дверью вечности, оставляя за нею всё, что было дорого, всё, что было. Стрелки часов частят: «Так-так-так...» Они будто бы метроном бытия, не дают задержаться подольше там, где мило, не соглашаются замедлить ритм, и нет толку умолять обождать, сбавить обороты, сместив грузик на маятнике повыше... **О т с р о ч и т ь !!!** Как бы не так.

1969 – 1975 годы. Страна подводила итоги восьмой, «золотой» пятилетки, полным ходом шло освоение девятого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР, возводились тысячи предприятий, Байкало-Амурская магистраль, Красноярская ГЭС. Я же в ту прекрасную пору работала на швейной фабрике, вносила посильный вклад в благополучие Родины, а заодно строила и своё личное счастье, которое, к сожалению, продлилось чуть меньше пятилетки. Семейная жизнь закружилась вовсе не по моей вине, не по причине склочности характера или некой пагубной страсти. Впрочем, каков бы ни был повод расставания с супругом, при подведении «итогов», я осталась одна, тридцатилетней разведёнкой с дочерью на руках.

Любому производству нужны и удобны не обременённые семьёй работники, а посему руководство фабрики взяло меня в оборот, посылая в командировки по служебным делам, так что вскоре я объездила всю Сибирь и Дальний Восток, случилось побывать на Байкале, в Иркутске, в Улан-Удэ. Названий всех населённых пунктов не перечислить, а иных уж и не припомнить, но в одну из таких поездок мы оказались в селе Бичура. Это, на первый взгляд непримечательное место, посетил в своё время адъюнкт Российской Академии наук Паллас⁶, чья фамилия навечно вписана в зоологические таксоны описанных им видов животных.

На самой швейной фабрике не было ничего необычного, но то, что произошло в воскресный день запомнилось на всю жизнь. Нас поселили в общежитие, и выглянув утром в окошко я изумилась тому, что по дощатым улицам взад-вперёд ходят необычно одетые женщины, те же самые, что в синих халатах и косынках трудились на фабрике. Вместо невзрачной рабочей одежды, теперь на них были красные юбки и жилетки, поверх – расшитые яркие фартуки. На голове кичка – ловко повязанный платок с торчащими на стороны тряпичными рожками и шишкой узла на лбу, а на груди – звенит при шаге монисто, бусы из монеток в пять рядов. И в магазин в эдаком наряде, и просто так, ради воскресного праздничного дня.

Позже мне растолковали, что бо́льшая часть жителей этого старинного, основанного в 1723 году села старообрядцы. Есть и православные, и буддисты, но тех – большинство.

Они хорошие люди, честные, трудолюбивые, но как бы сами в себе, живут замкнуто, в гости не зовут, а ежели кому и вынесут испить водицы, так той посудой побрезгают, выбросят после.

⁶ Пётр Симон Паллас (нем. Peter Simon Pallas(22 сентября 1741, Берлин – 8 сентября 1811, там же) – немецкий и русский учёный-энциклопедист, естествоиспытатель и путешественник на русской службе (1767—1810);

Помню ещё, было дело в Кемерово зашли с начальницей в кафе покушать, а там одни мужчины. Заказали, ждём, а тут официант, говорит, мол, вам с того столика графин пива попросили передать. Потом уж те, которые угостили, подсели к нам. Вежливые мужчины, шахтёры. Чистые, приятные, весёлые, а под ногтями угольная пыль и вокруг глаз обведено тонкой чёрной линией.

... Да... Байкал, Улан-Удэ, Дальний Восток, Кемерово, Бичура... Поездила я на своём веку, повидала всякого. А теперь что? – от кровати до кухни и обратно, да и то не своими ногами, верхом на коляске. Помощница приходит дважды в неделю, но и она тоже немолода, не дотолкает коляску через порожек до балкона. Не от хорошей жизни ходит за мной, старухой. И хотя она давно уж не вытирала пыль со шкафов, – пускай. Ведь и пол протрёт, и продуктов принесёт, и приготовит... Лишь бы приходила. Всё – живой человек, есть с кем поговорить. По душам.

Успеешь ли ты...

Время... Обвиняя в наших потерях, мы наделяем его безмерной важностью, хотя, коли по чести, оно само подневольно, и если изловчится когда обойти кого стороной, не спросясь, – делает это. Хотя и неуверенно, пугаясь собственной решимости, но д е л а е т !!!

И тут уж отыщется некто, который посетует, осудит, кивнёт в его сторону, да спишет все собственные огрехи на его счёт. Время же, что в иной час тает, как некогда обращается в воду сугроб под пристальным взглядом солнца, для кого-то теперь замирает на месте неспроста или тянется, противу обыкновению, непростительно долго.

Да не из шалости оно идёт себе самому наперекор! Не без причин та отсрочка, не для нервной, пустой горячки ожидания, но для раздумий о верности того, во что поверилось вроде бы ни с чего. Чревато минутное очарование, кому, как не времени ведомо то. ВедОмые опасны, вредны себе и причина несчастий для имеющих их в виду. Неспроста, но без корысти, лишь по причине истинных к ним чувств.

Из напраслин, возводимых на время, одна лишь верна – непреклонность. Неумолимость его конечности для любого из... Ох, как бесспорна, как очевидна она. Только никому не обвинить время в равнодушии, и что пойдёт оно дальше, не обернувшись ни разу, и не уличить в намерении причинить беду небытия. Не может быть того, чтобы так запросто вершило оно приговор.

Время лишь тем и живо, что побуждает избежать забвения, исчерпав в себе несчастье зла, да переполниться добром любви ко всему, ко всем, не позабыв при том и про самоё себя, что только кажется просто. Та неприязнь – помеха разглядеть прежде человека в себе, нежели в иных.

И всё же... В мгновения, когда время пропускает вперёд, а само присаживается на скамью вроде бы как передохнуть, сгибаясь, смотрит в пол, да машет тебе идти дальше одному, без него, делается тихо и светло.

Оглушённый этой тишиной, наблюдаешь за тем, как замирает зыбкое марево прочего мира, так что можно понять, узрев, не то подробности, но загодя побуждения, а с ними и несостоявшееся, зряшное отчаяние, пустота выстраданной многими усилиями надуманной радости. И она оказывается не той, не тем, ради чего стоит отстраниться от мира в сердце.

Вне времени ты один на один с собой. Непостоянство, затерявшись в вечности, лишает суетность той, некогда сочинённой для неё важности. И... что тогда? Которое кроме?

Время... Оно стоит подле каждого из нас с секундомером, и ждёт нажать кнопку, и глянув на циферблат, оценить: уложился ли ты в отпущенное или сделал чуть больше, меньше, чем мог. Но услышишь ли ты? Успеешь узнать про то?..

Время... Оно в тебе самом.

Под цвет летних облаков

Я помню, как его зовут, но не скажу никому...

Автор

Он был похож на ангела. Но не того его воплощения, с нимбом над льяными кудрями и крыльями за спиной, что выписан не раз кистями гениев. В тех удел выдавали глаза, у этого взгляд бледно-голубых, до прозрачности, очей был дерзок. Он взывал к жизни, вызывая её на разговор не по рыцарски, не на поединок, а «за угол» или попросту: «ну-ка, давай выйдем».

По этой причине жизнь мотала его по камерам, зонам и этапам, не в отместку, но в назидание. «Учила» обращаться с собой. Но сей диковатый ангел с пыльными, синими от наколок руками, так и не сумел приноровиться держать лук, а вместо стрел хранил в одном из карманов пиджака свинчатку и нож-бабочку, а в другом – коробку дешёвых крепких папирос и спички, кои ловко возжигал одной рукой, щелчком большого пальца, по-босаяцки. То умение было предметом его особой гордости, отличавшее от сверстников, прозябавших за школьной партией, покуда он чалился по малолетке в женской колонии.

Помню, вызвал он меня как-то раз с уроков, пригрозив учителю из-под полы топором. Не желая рушить авторитет педагога, я вышел с парнем из школы, довёл до ближайшего сквера, и усадив на скамью, спросил:

– Ты же нормальный, хороший! Кто так сильно обидел тебя, скажи?

Он сощурился, скрывая внезапные детские слёзы, и выдохнул:

– Поговори со мной. Пожалуйста...

И, присев рядом, я начал рассказывать ему, чем занят, что читаю, о чём думаю. Дошло до того, что я прочёл ему несколько, довольно много! – из раннего нелюбимого Пушкина и раннего, весьма сомнительного себя, а он всё слушал и слушал, скорее внимал.

Уж день состарился, и пролетела ночь, а мы всё ещё сидели на скамье под отцветшим к рассвету фонарем. Мои родители видели нас через кухонное окошко, но домой не позвали, оценив важность момента.

Когда утро дало нам разглядеть наши бледные лица, я выдохся и замолчал, но тут пришёл его черёд заговорить:

– Знаешь, за это время я не услышал от тебя ни единого матерного слова, а я живу, с теми... с такими, которые не умеют выразить мысль, чтобы не выругаться. – махнул рукой он. – Я так не хочу, мне тяжело с ними, но если я не буду, как они, меня не поймут. Ты говоришь, что я хороший, но те... Они засмеют, будут считать слабаком. Ты не такой. С тобой стыдно, с тобой – нельзя. Если хочешь, – неожиданно, с горячностью человека, которому нечего уже терять, предложил он, – я убью любого, кто посмеет ругаться при тебе. Мне уже всё равно. Хочешь?!

– Не хочу... – растерялся я от его неподдельного напора.

– Можно, ты будешь иногда разговаривать со мной? – попросил он вдруг.

– О чём речь! – попытался обнять его я в ответ, но он отстранился, и, приподнявшись со скамейки, попрощался, вежливо склонив голову. Он видел, как делают точно также в какой-то кинокартине.

...Не всякий ангел кудряв, но у каждого под пиджаком с затёртыми локтями спрятаны белые... жемчужные! крылья. Под цвет летних облаков.

А покуда – февраль...

Среди пернатых оживление. Февраль решил натопить баньку, для чего и призвал в помощники солнце, дабы натаскало оно воды. Запарилось светило, жидит сугробы, плавит, а оне всё мимо текут. В овраги вода-то хотя набирается, да по канавам по-змеиному ускользает, оттуда на путь-дорогу, что стоит-поставляет, пузырится квашнёю до вечера, а там уж, незамечена, под пухлым прищуром месяца делается холодна, густа, сомнительна от того, что не удержаться на ней.

Мороз этот ночами, понятно, не пускает дальше. «Т-пру! Стой! Не велено!» – осаживает он водицу, отчего та замирает, прижав прозрачные холодные уши... Ну, а утро опять за своё, вынуждает солнышко засучить рукава. И так уж оно старается, – тонки горячи рученьки мочит, серы сугробы мнёт, сок снежный добывает, наполняет овражки доверху, канавки по колёно, дорожки – так только, прикрыть камешки, сор смыть, да сравнять колею с обочиной, ибо тяжко проезжающим, а пешим и того плоше.

Для синиц то времечко в радость, у них, синиц, банный день, а то – неделя. Выбирает каждая птица по ледяной купели, так, чтобы поглубже, да с пологим рыхлым бережком. И, – ну с разбегу в водицу. Хоть и холодна она, да мягка. И уж плещется синичка до мокрых пёрышек, а как смочит с себя последнюю соринку, слабнет от удовольствия. Сядет на веточку, что пониже и поближе, отжимает одежонку досуха, а после машет крыльями быстро, согревается ещё скорее.

Улыбается лес синице, будто его самого щекочет вода промеж пальцев корней, смеётся над сойкой, что глядя на синичку, шустрит, летку-еньку на шпалах пляшет, но следовать её примеру не торопится. Сойке мочить перья не к спеху, весны с летом ждёт, и уж тогда... А покуда – февраль.

О.П. Беляево 1848 – 2024

На исходе первой половины девятнадцатого века, в приличном отдалении от больших и малых городов, посреди леса вырос, будто гриб на поляне, полустанок. Неподалёку от него некогда существовал монашеский скит, но от него осталась лишь тяжеленная гранитная плита, по которой и ровняли при строительстве насыпь. Борозда рельс Николаевской железной дороги поделила полустанок надвое, и не было в том никакого злого умысла. «Так повелось», – говорят про такое старики, а за ними и их внуки с правнуками, – в память о дедах, да в подтверждение незыблемости многих в этом мире вещей. Причину обычая – селиться по обе стороны чего-либо, – то ли оврага, то ли реки, то ли дороги, – угадать немудрено: люди повсегда жмутся друг к дружке, в тот же час храня каждый свой покой. Хозяйствуют, имея друг друга в виду, на случай вспомоществования, либо горя, что совместно легче снести, или для поры неких радостей, кои во много раз сильнее, ярче, коль их пламя раздувает сопереживание соседей со сродниками, а то и проходящих мимо посторонних со странниками.

Отцы семейств, что служили на железной дороге кто стрелочником, кто рабочим, кто обходчиком, раньше ходили на работу помногу вёрст из ближайших деревень, либо теснились в бараках, навещая семьи только по праздникам. Теперь же им не приходилось жить в тоске и беспокойстве по домашним, появилась возможность быть с ними рядом, видеть, как растут дети, какой нежностью сияют глаза жён им навстречу. Ребятишки крутились подле родителей, а жёны, – которые трудились бок о бок с мужьями, а которые поджидали дома с крынкой тёплого молока, горячей в печи картохой и хлебом.

Подле домов вскорости распахали под огороды землю, крутобокие коровы паслись на берегах речки, что промыла себе путь от посёлка Московка до реки Воронеж и не могла обойти эти места, домашние свиньи прогуливались с местными кабанам в ближайшей дубраве, а после поросились помногу и водили поросят подьесть румяной падалицы... И чего тут только не росло! Арбузы и те подводами возили на продажу, не то обычный овощ!

Из тех времён до настоящего, на исходе девятого колена⁷ на полустанке осталось людей меньше двух десятков. Летом наезжают дачники из пра-пра-правнуков, а вот живности, кроме котов и трёх собак уже нет никакой. Последний курятник опустел из-за лиса, что не спросясь зачастил в гости.

Днями здесь тихо. По вечерам ещё тише. В ночи окликают друг друга филины. Впрочем, свет в окнах даёт надежду на то, что люди, живущие на земле своих предков, пересидят тех, чиновных, которые глядят на них с презрением из окон кабинетов, и принуждают бросить всё, уехать, оставить на съедение времени и разрухе свои дома.

Но ведь нехорошо эдак-то, неправильно. Сей полустанок – тоже Родина, та малая её часть, тот ручей, что питает реки больших городов.

По запертому на замок чердаку кто-то ходит, топая громче громкого.

– Хозяин⁸... – щерится старик к потолку.

– Ага, ага! – кивает головой супруга и тянется налить в миску драгоценного, привезённого из города голубоватого молока. – Жаль, не своё. – грустит она.

– Жаль. – соглашается с женой старик, и прислушиваясь к звуку проезжающего поезда, добавляет, – Московский. Как по часам.

⁷ колено – поколение

⁸ Домовой

Всякому – своё...

Бьёт февраль колотушкой мороза. Полагает, что «от сих» и до самого горизонта, а выходит, что по деревьям. Замахнулся было от плеча, с размаху, да вовремя одумался, ходит теперь, бурчит нечто под нос и стучает полегоньку, нежно почти. Знать, усовестился. С ними, с деревьями, теперь нельзя абы как, надобно бережно, дабы дотерпели стволы до весны.

Ведомо февралю, что озябли деревья. Не без его в том вины. Хотя... тут как посмотреть, вроде как сообща сладили, расстарался не один, а сотоварищи.

Сперва полуденному ветру вздумалось протереть окошко небес, захотелось поглядеть, что там, выше, делается. Покуда тёр, сквозь прогалину, ему навстречу – солнышко трясёт рыжими волосами, также крадётся и подсматривает с той стороны. Вишь, интересно ему делалось – что без него, да как.

А деревья и рады свету, теплу, по зимнему-то погодыю. Насмотревшись на синиц, кинулись в объятия солнечных лучей, как в омут, да сразу разомлели, посрывали с себя одёжу из меха мха, не подумали ни про мороз, ни про заморозки. Стоят теперь раздеты почти, тулупы мха в ключья на снег, а лоскутки разнесло ветром по всему лесу – бери, кто хочет.

Кожанки наста полян, и те облупились было, на деревья гляючи, да хватило ума удержать в себе подкладку снежного пуха. Эти ничего, перетерпят до весны.

Обернулась земля вокруг себя через западь⁹, через то место, где солнце заходит за горизонт, и опять в опочивальню. Рано, говорит, пробудилось, не выспалось. Тут уж настал черёд мороза, осерчал – застучал шибче, так что затрещали кости леса.

А из-под серого потолка облаков машут дубраве в Ороны, насмешничают: «Охолони! Рано разоблачаться до исподнего! Тут тебе не то... Пока суть да дело, где земля обрита наголо, там уж будет почти что лето, а у тебя за пазухой – ещё зима...»

Вот и выходит – всякому своё правило, а календарь, хотя и хорош, да супротив естества он так – листы с цифирью, и от них ни холодно, ни жарко, разве что бумажкой в печь... И то – поглядим, каковым он себя покажет там.

⁹ место, где солнце заходит за горизонт

То решать не нам...

Всё чаще и чаще, по дороге из недавнего детства в небытие, на бегу и при неслучайном, как водится, случае встречи со старыми знакомыми, на вопрос: «Где наши все?» они скучнеют из-за того, что эта фраза вырывает их из суеты самообмана:

- Где? Ты про кого? Если про Пашку, то он уже не с нами...
- Давно?
- Давненько.
- А Серёга?
- Накануне... ну, ты, понимаешь, звонил из больницы, мы долго разговаривали... А под конец он сказал, что если не ответит, то это уж всё.
- А Шурик?
- Хотели пообедать вместе.
- Ну, и?!
- Не проснулся.
- Почему?! Что случилось-то?!
- Я не спрашивал. Да и какая теперь разница.
- Чего мне-то не сообщили?
- Не знаю. Не до того было, наверное.
- Сам был... там?
- Нет. Я хочу помнить его живым.

Пытаясь сменить тему, я принимаюсь возмущаться тому, что никто из друзей за делами и бездельем не удосужился поздравить меня с юбилеем, на что он резонно заметил:

- У некоторых из наших его не было вовсе...

Посмотрев друг на друга обречённо, мы договариваемся о встрече. «Но только чтобы без отговорок», – решаем мы, но видим друг друга в следующий раз только лишь на похоронах. На чьих? То решать не нам.

Праздник нового дня

Едва ночь засобиралась уходить и переодевшись в домашнее, поскромнее платье, задула свечи звёзд, утро принялось основательно готовиться к празднику грядущего дня, и перво-наперво затеяло варить кисель на малом огне рассвета, ибо всякой хозяйке ведомо, что кислый мучнистый студень или же взвар, коли осталось ещё сушёных яблок, нужно ставить на плиту первым, дабы поспел и остыл к обеденному часу.

Крахмал облаков сбился в пышные рыхлые мутные комья, и ветру пришлось растирать их со тщанием, дабы придать небесам той бездонной однородности и гладкости, кой хороша в спокойные, тихие, ясные дни. Впрочем, как бы ни был огонь мал, всё одно – временами кипело, брызгало розовыми каплями через края горизонта, заляпывая в «розовый-гвоздичный» стволы, заливая полупрозрачным душистым лаком света срезы пней, ровно застилая их сквозной камчатной¹⁰ тканью.

Скомканные скатерти сугробов, что сдёрнуло накануне солнце, да позабыло постирать, лежали тут же, но вида не портили. Чего не бывает в хозяйстве. Без минутного беспорядка порядка не видать.

Заодно с облаками, ветер посшибал с чубов веток вязанные шапки гнёзд, да в самый снег, сыграв на крыло тем, склонным к праздности пернатым, что заместо гнёзд обустройствают ямки промежду кочек в траве или прямо так, на голой земле. Тут уж подержанное лукошко окажется весьма кстати. Многие птицы, как люди, любят на всё готовое, а иным за песнями недосуг, к примеру, как соловьям, а которым и дела ни до чего нет, – как сложится, так тому и бывать...

К полудню, когда солнце выкрутило свету, сколь смогло, день пировал и праздновал себя, не таясь. Всякий, живущий в том дне, шурился от удовольствия и причинённой бытностью радости, а со стороны леса раздавался стук деревянных ложек по блюдам и тот деликатный хруст, когда, стесняясь показаться простушкой, девица впивается-таки в куриную ножку ровными своими зубками, прикрывшись от посторонних вышитым собственноручно платком.

Натянув облако до подбородка, будто одеяло, солнце светилося, дивясь на результаты своих трудов и тому, как приятно делать ему то, что должно. Ровно так, как это и должно быть у других.

¹⁰ узорный

Москвичи

Когда нас представили друг другу, то это не было похоже на первую встречу чужих людей. Чувство, всколыхнувшееся в моей душе, оказалось сродни тому, почти забытому, что я испытал некогда в детстве, когда бабушка, указав на незнакомого мне мальчика, стоявшего в её кухне, подле святая святых – припудренного мукой стола, на котором лежало тесто, с ласковой улыбкой произнесла:

– Знакомься, это твой троюродный брат.

Я рассматривал мальчика, как новую, нечитанную ещё книжку с неведомым сюжетом, финалом, и, что самое главное, – я не был свободен в выборе – «перечитывать» эту книгу или поставить на полку, позволив пыли укрыть от меня её название и даже самый верхний обрез.

Признание родства принуждает искать и находить повод для каких-то совместных занятий. Отсутствие простительного, понятного вполне отчуждения незнакомых друг другу людей обезоруживает более чувствительного, играет с ним злую шутку. Он как бы лишается права защищать своё «я» от вторжения, и обязывает уступать, делиться, сносить насмешки. Даже если ты не дрожишь за своё барахлишко и готов разделить его между первым и вторым встречным, всё же, разламывая шоколадную конфету, хочется протянуть большую часть тому, кто приятен, тому, к которому без сожаления пододвинешь коробку с единственным любимым конструктором... Особенно когда тебе пять-семь лет от роду.

С тем троюродным, мы по сей день как-то не очень, нет ожидаемого, искомого, безусловного тепла и искренности, несмотря на несомненное родство. Но в противопоставление к этому случаю, однажды в Москве, после концерта, на котором я пел своё – искреннее и безыскусное, произошла ещё одна встреча, что свела с людьми, без которых я не мыслю своего прошлого.

... Когда нас представили друг другу, я почувствовал, что вижу перед собой не знакомого, но родного человека. Как минимум – двоюродного брата. Он очевидно был готов поделиться всеми игрушками своей взрослой жизни, а тут – мне «всего лишь» негде было переночевать, и он без лишних слов согласился приютить меня.

– Я только позвоню родителям. Предупрежу. – объяснил он, выискивая глазами ближайшую телефонную будку.

Сашка, так звали моего нового друга, работал в редакции журнала «Советская культура». Протягивая руку для первого пожатия, он сказал:

– Александр, но ты зови меня Сашкой, как называют меня близкие.

Вот так запросто, не сомневаясь, не задерживая наше случайное знакомство в кислом от неопределённости болоте необходимости «дать время, дабы перерасти во что-то большее», этот парень с первого мгновения причислил меня к близким, к друзьям. Хотя, как оказалось позже, завоевать его доверие было очень нелегко.

Родители Сашки приняли меня так, будто бы я был их потерянным и вновь обрётённым сыном. Приятие и симпатия Сашки была порукой тому, что мне можно открыть не только двери дома, но и сердце.

Честное слово, я был до такой степени оглушён добротой и радушием этой семьи, что совершенно незаметно для себя стал называть Сашкину маму – мамой, а отца по имени, как давнего, старшего, душевного друга. И при этом оказались совершенно не важны: ни отсутствие родства, ни разница в возрасте, ни то, что мы вообще знакомы всего несколько часов.

Единственным человеком, который не разделял восторгов домочадцев, была Сашкина бабушка. Она с подозрением присматривала за мной, почти шпионила, что, в противовес здравому смыслу, не умаляло гостеприимства семейства, но напротив, наделяло его ещё большей ценностью. Ну, не нашлось у Сашкиной родни за пазухой камней, что можно было бы бросить по моему адресу. Не искалось.

Меня уложили спать на роскошном кожаном диване, а «только до утра», как-то незаметно растянулось на неделю. Мама Саши, подсушивая кусочки солёного хлеба на сухой сковороде, посоветовала не торопиться за обратным билетом, вместо того наказала «не опаздывать к ужину» и вручила запасную связку ключей.

Где ж затерялось оно, подтверждение притчи во языцех – о высокомерии и разумной до бесосновательности, привычной настороженности москвичей? Не было его! Не в этот раз. Не со мной. Не от них.

Закончив свои дела, я заходил к Сашке на службу, и он делился со мной причудами классиков, что забегали в редакцию на чай о пяти звёздах.

Мы гуляли по улицам и переулкам Москвы, и не могли наговориться. Про что? Не помню, да и какая теперь разница. Мы были такими счастливыми, именно это и запомнилось очень хорошо.

Мы переписывались, перезванивались, и во время моего очередного приезда в столицу, ночами я вновь вдыхал вкусный запах кожаного дивана, а на завтрак запивал сладким чаем солёные сухари.

Увы, всё в этом мире кончается когда-нибудь.

Сперва не стало строгой и подозрительной бабушки, после ушла Сашкина мама, потом и он сам. Последним покинул этот мир его папа, – хороший, добрый друг. Перед Новым годом я непременно кладу под ёлку конверт с открыткой, подписанный его рукой, но только после боя Курантов решаюсь перечитать её в очередной раз. Вздыхаю. Закрываю глаза и заставляю себя хотя ненадолго поверить в то, что все ещё живы, а грущу лишь потому, что вижу, будто теперь маму... Саши, которая машет мне с перрона, утирая слёзы свободной рукой.

...Неведомо отчего, но на ум часто приходит фраза о том, что «Человек создан для счастья, как птица для полёта»¹¹. Слышанная тысячи раз, она только теперь обрела смысл. Думаю, всякий раз, когда сосуд очередной прописной истины наполняется исконным своим значением, мы становимся взрослее. Ещё немного...

¹¹ Владимир Галактионович Короленко (15 июля 1853 – 25 декабря 1921) – русский писатель, журналист, прозаик и редактор, общественный деятель. Почётный академик Императорской Академии наук по разряду изящной словесности, фраза из очерка «Парадокс»

Не насовсем

В печи золотистым шёлковым платком полощется пламя. Сквозь его прозрачную ткань видны самоцветы углей, рассыпанные по бархату золы. Укромность теней и само тёплое дыхание печи, что сделаются вскоре надолго ненужными, тянутся до тонкой струны души, и касаясь её, прислушиваются к строю, что одинаков во все времена.

В той незатейливой музыке и сожаление об минувшем, и предвкушение нового, и запоздалый стыд из-за неумения сокрыть поспешность, желанность преувеличенной надеждой радости, что сбывшись, увянет срезанным цветком.

Невозможно свыкнуться с неотвратимостью увядания, проще не думать, забыться трудом, иль, окутав себя паутиной праздности, тянуть жизни сладкий сок через травинку с надменностью видавшего вида, кой скрывает неподдельный детский испуг.

Чудилось ещё, будто бы шёлк пламени касается углей, словно полуденный зной, что крадётся вслед за ветром и дотрагиваясь придорожных камней, согревает их в ладонях жарким своим дыханием.

Тем же часом, за окном, среди вишен... Несмотря на мороз, да что солнцу нездоровится вдругорядь, деревья нарядились разноцветными шарами синиц и снегирей. Ключья снега холодной ватой зажатые перстами ветвей, неловкие от мороза, роняют снег наземь. Но достанет его и марту, и апрель, коль будет в том надобность, отыщет его вдоволь на дне оврагов.

Да не насовсем тот снег, и не только он один.

Чистые воды бытия...

Снег не падал, но парил в воздухе, так что чудилось, будто он поднимается, возвращая ночи снежинки, как упавшие некогда звёзды. Те долго набирались в горсть земли, кажется, с конца лета, и разглядывала их она, как дети рассматривают морскую гальку, – нос к носу с собственной тенью. Ходят, не замечая озноба от запечённых солнцем плеч, выбирают особенные, глаже прочих голыши, один взгляд на которые вернут их позже в объятия бриза, даже когда просохнет, облупится лак воды, оставив пудру мелкой соли в уголках губ и морщинках подле глаз. Ведь то только кажется, что все они на одно лицо.

Разложив тесно на прилавке берега, исплакавшаяся волна брызжет на камешки, будто торговка, что с несчастным лицом кропит мокрым пучком петрушки свой первый редис. Ей будто жаль расставаться с выпестованным с семечка овощем. И гладит она красные красивые шары с обвисшими ниточками корней и задорным чубом ботвы на прощание, сменяя на монеты, от которых одна лишь радость, что пойдут они на сладости внукам. Ей-то уж и не надо ничего, кроме как видеть, что идёт в рост, набирается сил и красок, взрослеет... А кто то будет или что, – котёнок, человек, либо этот редис, ей уже без разницы.

Счастлив тот, кто дорос, дожил до эдакой-то любви ко всем, ко всему на свете.

Ночь-полночь. Низкие облака полностью закрывали небо. Единственно – ржавая по краям луна зияла прорехой, светлым пятном, что колыхалась, мерцала и казалось колодцем, полным жемчужной, чистой воды бытия.

То ненадолго...

Синицы копошатся по-мышиному под юбкой сосны, прыгают коридорами просторных нор сугроба, но всё одно жмутся ближе к стволу, где теплее, подальше от злы простора, понавдоль которой по-гусарски прохаживается февральский ветер. Оттуда же, из глубин, синицы подают голос, и не веря себе, соловеют, ибо под сурдиной снега звук округляется, а лишаясь простоты и прямолинейности, делается изысканным, приятным даже для привыкших к соловьиным трелям с коленцами.

Насладившись нечаянным своим талантом, ошалев от него, устремляются синицы на вольный воздух, отдышаться на снег, высыпаются словно семечки из белоснежной сердцевины яблока, да тут же, опалённые морозом, прячутся обратно. Ненадолго оно, это желание – прийти в рассудок, всякому приятнее казаться лучше и себе, и другим, пустить пыль в глаза, хотя снежную, хотя иную, – то по сезону и обстоятельствам. Взбираясь на этажи веток, принимают синицы снежные ванны, лакомятся мороженым, сдобренным полезными для шевелюры семенами чертополоха, что доставил услужливый ветер к столу. Не обошлось и без горсти семян хмеля. Но во хмелю не все веселы, бывает, что и буйны, а потому можно-таки, лучше, обойтись без него.

...А и мышковал в ту пору, как водится, лис с длинным, в половину себя, пушистым хвостом, что развеивается соскользнувшей с шеи горжеткой, не касаясь, впрочем, скованной настом тропы. Обескуражен заправский хитрец странными голосами и неправильной суетой из мышинных нор. Лишённый бодрости, как надежды, струсил он, потрусил прочь, в поисках простых и понятных собственно мышинных звуков, к коим приучен с малолетства.

Те ж нелепые птицы, привалившись к стволу крылом, млеют от своего недавно обретенного совершенства. Да то ненадолго – пока не растает снег...

- Слышал? Синицы поют дикими голосами.
- А казались так милы, покуда не принялись чудить.

В мечтах...

Несмотря на безветрие, лес постоянно находился в движении. Как только некий, потревоженный солнцем сугроб сползал с ветви вперёд спиной, будто дед с печи, та ветка тут же разминала затёкшую шею и плечи, после чего полегоньку распрямлялась, задевая при этом соседние деревья.

– Прошу прощения... – сипела ветка, но её словно не слышал, не слушал никто, ибо со всех сторон раздавались подобные же этому скрипы, вкупе со смущённым, даже несколько боязливым уханьем снега с высоты.

– И чего ж пугаться-то так? – изумлялась ветка столь очевидно выказанному страху очередной горсти снега, рухнувшей под ноги дерева, на котором она росла, – чай не мышь, не из норы выбрался, недавно ещё летал по небу, кружился, куражился, красовался перед округой, грозил заполонить, засыпать её вровень с горизонтом, а теперь что? На попятную?

– Так то когда было... – таял от стыда снег.

– А вот и вчера, и третьего дня, и перед Святками! – злорадно упрекала памятьливая ветка. – Да по всю зиму, почитай, безотвязно ты тут.

– Ну, уж прямо... – насупившись возражал снег.

– И не один! – возмущалась ветка, – Со всею роднёй, судя по всему! Куда не глянь, всё одно – снег!

Солнце, что неизменно, – зримо иль скрытно участвует при всём, рассмеялось при этих словах, приложив к губам платочек облака, и осмелевший, ободренный малой тенью снег враз нашёлся, чем ответить ветке:

– А как ещё, в зиму-то? Иначе никак!

– Ну, не знаю... – растерялась ветка, – Не первый год живу на свете, но чтобы эдак-то, помногу дён мело, такого не припомню...

– Всё когда-то случается впервые... – резонно возразил снег.

– Это да... – неожиданно легко согласилась ветка.

И... долго после беседовали они. Рассуждая о былом, как об теперь, о том, что в настоящую пору, и про то несбывшееся будущее, в котором уверен всяк, покуда не наступило оно на пятки и не сделалось минувшим, да таким, что без красок, коими наделяет всякое прошедшее память, не обойтись никак. Не таковское оно всё, в мечтах...

Кора деревьев звонко лопалась мыльными пузырями от мороза в ночи, а лес, каждое из его дерев, что застоялись за зиму, топтался, высвобождая подле себя немного свободного места, дабы было куда ступить весне.

С драгоценной улыбкой зари...

Ветер резко распахнул бушлат ночи, оборвав блестящие пуговицы звёзд, из-за чего стало видно тельняшку рассвета на крепкой, широкой, просторной груди неба, что словно открытая всему миру и честная перед собой душа.

И тут же солнце алмазным, разительным сиянием принялось веселить округу, простирая тонкие лучи, будто объятия, навстречу новому дню, невольно принуждая к улыбкам без видимых причин, да наигранной рассеянности, под которой прячут обыкновенно искреннюю, детскую, стыдную от того радость, что жив.

Окрылённый эдаким рассветом день скользнул над землёю незаметно, уступив место сумеркам, в тени которых, при свете ночника луны ветер выбирал в лесу одну из полых или со многими дуплами свистулек стволов, коих не счесть, и принимался дудеть. Кажется, он перебрал их все, и вздыхая протяжно по которому уж разу, упрявился, выискивая тот самый голос, в котором послышится, а лучше – явственно прозвучит одновременно и радость, и печаль, и осуждение, и бесконечная, безусловная любовь, которой желается немалою числу, но так, чтобы навечно, без отдачи.

Увы, лишь для малой части выражение той любви – потребность, без коей себя не мыслят, остальное большинство дорожат собою пуще, нежели прочих.

А ветер всё искал и искал, да не сдюжил, наконец утомился и стих.

Так вот же она, странность естества – не разглядеть очевидного. Сколь ветер не тщился, а любой, играющий гамму жизни, узнал бы в том извечно одном звуке ноту «Соль» самой первой октавы, той, что напротив пюпитра с истрёпанными до конфетти по краям нотами, где записаны причудливые в своей простоте мелодии бытия.

– Соль – это вы про соль жизни? Избито, пожалуй!

– А это уж как вам будет угодно. Истина всегда изранена непониманием. Но то лишь до известной поры.

...Ночь щедро делится с округой покоем не всегда, но нынче, разделённая с одной стороны залысиной простёртого горизонта, а с другой – искусным, чёрным кружевом зимнего леса, она прислушивается к неспешной, неловкой музыке ветра, к смеху во сне лисят из норы, издали похожим на плачь... И она благосклонна ко всем, ибо дарует надежду утра с его сияющей, драгоценной улыбкой зари.

Неспроста

Солнце, обмахиваясь веером макушки сосны, как павлиньим пером, отдуваясь от собственного жара, как после бани, и дыша тяжело, будто загнанная в мыло лошадь, томно глядело себе под ноги, покуда не заметило осколки льдинок на подоконнике, похожие на битую с радости посуду тонкого стекла. Судя по всему, зима праздновала свои последние деньки, и не в силах утаить радости, сберечь её от зависти прочих, наполняла чашу талой водой одну за одной, не соблюдая осторожности и меры, ибо всё никак не могла поверить, что вот уже совсем скоро сбросит бремя обязательств, и если кому вздумается упрекнуть её в чём, то она уж будет не причём.

– Снегу, говорите, много? А это уж не моя вина! – хохотала, показывая полный рот бело-снежных зубов зима. – За своё отвечу, а за чужое... – злобно скрипела она челюстями, будто сухим мороженым снегом, – Нет уж! Дудки!

И невдомёк отчего-то зиме, что редко бывает эдак, чтобы ты вовсе не был виноват в том, с чем оплошали другие. Ежели февраль насеял сквозь сито облаков снегу вдоволь или больше положенного, так не избежать весной половодья. Не сам же март баловался снегом, с чего бы ему! Не до того ж он дурён, чтобы не понимать, – не сумеет промёрзшая ещё земля впитать воду, да и солнцу не сдюжить, не прибрать досуха, покуда в силу само не вошло, и зеркало снега не позволит скоро случиться тому.

Ярко февральское солнце. Глядит оно в глаза пристально, будто добивается ото всех правды, которой не понимают сами, или знать не хотят. Непросто это – думать не только о себе. Так неспроста не думается, потому как прежде других – себя жальче. Да про то, что не достанет той жалости для утешения, мало кому ведомо, а то и вовсе – никому.

И не оставит следа...

Утро сеяло предпоследнее зимнее солнце сквозь решето ветвей. Осталось его всего ничего – на пару дён: на один, который всегдашний, и случайный лишний високосный день февраля.

Нежась под потоком солнечных лучей, в десяти шагах¹² от железнодорожной насыпи по березняку бродил олень. Время от времени он останавливался и обнюхав наклонённые снегом ветки, принимался закусывать. При этом он не строчил по сторонам ушами, не оборачивался разглядеть, что вокруг, но задрал голову, трогал мягкими губами, выбирая нежные розовые побеги и жевал их, прикрыв от удовольствия глаза.

Переходя по скованным настом сугробам от дерева к дереву, олень проваливался иногда до земли, отчего-то одной только правой задней ногой, но не особо обращал на это внимания, а лишь взбрыкивал несколько брезгливо и тянулся к очередной ветке, дабы не прерывать неторопливого течения занимавшей его трапезы.

Со стороны могло показаться иначе, но олень и вправду был спокоен, а прижимал уши лишь для того, чтобы в них не попадал снег. Оленя не интересовали поезда, не пугала близость человеческого жилья, хотя он знал цену и тем, и другим, ибо видел погибших сотоварищей на рельсах, в капканах, либо от выстрела. Просто на бобинах его жизни крутилась другая плёнка. Машинисты гудели громко или останавливали поезда, а люди, хорошие люди! – не позволяли произойти непоправимому.

Олень сморщил кожу чуть повыше лопатки, прямо рядом с пороховым ожогом... и продолжил смаковать свой день.

Лес вокруг порхал крыльями прошлогодней листвы, словно тшил взлететь, а сугробы гнули ветки книзу, будто приучая к повиновению. Но солнце кивало им, намекая на скорое избавление от тягот, когда, в один прекрасный день, те смогут поднять голову так высоко, как сумеют, ибо снег растает, и не останется от него никакого следа.

На сколь хватает сил...

На лаковой, скользкой от наста крышке сундука сугроба были видны многочисленные мелкие следы. Казалось, они оставлены детскими грубо плетёными лапоточками. К счастью, мало тех, которые отправят малютку гулять в одиночестве по зимнему лесу, а посему, осмотревшись безо всякой тревоги, я поглядел чуть выше собственного носа и догадался о причине. То ветка роняла щепоти снега, снимая их с себя, словно пушинки с рукавов.

Покуда солнце на пару с ветром шалило, строя из снега на дорогах запруды и пуская по ним кораблики под золотыми парусами кленовых листов, лес поспешно приготавлился к приходу марта. Убирал дерюгу сугробов с обстановки, расставлял табуреты пней и похоже сработанные стулья с высокой спинкой коры, обтирал длинные скамьи поваленных стволов, заодно обшивая их приятным наощупь гобеленом мха.

Поляны было решено отчищать от пыльного снега не враз, но понемногу, начиная снизу, от самых стволов. Тем не терпелось пошевелить озябшими пальчиками корней, но не вышло никак, отчего деревья морщили и без того сбористые лбы, да складывали в улыбку щёки,

¹² шаг равен 71 см

полагая, что таким манером, в ответ на их старания, март переменит настроение, покажет себя с лучшей стороны, как можно скорее.

Звериные тропы протаивали лучше всего. Следы тех, кто имел обыкновение ходить по ним, обретали формы и очертания хрустальных сосудов, кои лопались, покрывались трещинами и распадались на блестящие ломтики от одного упоминания о весне.

Там и сям вызывающе зеленела трава... Так режет глаза вид вечернего платья, край которого выступает за подол или из-под полы больничного халата, напоминая о том, что где-то есть весёлая, яркая жизнь без слёз и боли.

Под лаковой, скользкой от наста крышкой сундука сугроба дремала земля, а с нею и жизнь: фарфоровые в этот час ящерицы, недвижимые, забывшиеся сном змеи, лягушки, ежи, личинки жуков, – все те, которые обрушивают зимнее безмолвие в одночасье и не могут угомониться с последних морозов до первых заморозков. Столь долго, на сколь хватает сил...

Не всем...

С последним снегом мы повсегда нежнее, чем с первым. К тому – с дерзновенной радостью, стремлением указать ему его место, да куда следует ссыпать несметные сверкающие бриллиантами богатства, а то и отшвырнуть с негодованием прочь, что не редкость...

Этому же прощаешь напоследок всё: и неумеренность, и плаксивость... Любое, кроме скорого ухода в небытие. Это уж слишком. Лежал бы где-нибудь в сторонке, на дне оврага, в холодке или в тени на сквозняке, привалившись к стене забора, грел бока до начала морозов...

Но покуда округа млела и слепла от прощальной белозубой улыбки зимы, жизнь шла своим чередом. Ворон, что совсем недавно был юн, теперь оказался и помолвлен, и обручен, и даже уже женат. Одним движением смёл он снег с ветки над дорогой, как со скамейки в парке, дабы присесть передохнуть и осмыслить происходящее. Ведь даже страстно желаемое, свершись оно стремительно, – обескураживает.

Блестящий тяжёлый клюв ворона, отражая луч солнца, казался разящим зло мечом. Сияющее оперение чудилось доспехами, а обыкновенные для пернатых повадки не скрадывали стати, но даже подчёркивали её.

Ворон обвёл нарочито строгим глазом округу, и убедившись, что поблизости никого, принялся ворковать. Неожиданно нежно, по-голубиному.

Дело было в том, что молодая супруга нынче впервые не сопровождала его, а осталась в просторном, первом в их жизни гнезде. Они вместе трудились, сплетая его по примеру прочих. Вышло неровно, но крепко. Высланное для тепла собачьей шерстью, – не спрашивайте, откуда она взялась! – гнездо выглядело очень даже уютным.

Весело было вдвоём хлопотать над обустройством, выискивая веточки, прутики, гнать собаку с ближнего к лесу двора. Теперь же, после как подкатила под себя новобрачная третья, но не последнее голубоватое яичко, и до появления птенцов на свет, ворон будет единственным добытчиком в семье.

Это ли не счастье, – спешить домой, к той, что ждёт, встречает любящим взглядом, и от того понимать: где твоё место в жизни, каково оно, предназначение.

Вообще, облик птицы был внушительен, прекрасен, сквозь совершенство её очертаний проглядывало некое сияние, сродни изъясления миру благодарности существования в нём, хотя бы в образе ворона. Ну... не всем же, в самом деле, быть людьми.

Брат Колька

Накануне мне было как-то нехорошо. Сердце напомнило о себе, и постучавшись в грудную клетку, попыталось выйти вон, загородив проход воздуху. Я испуганно посмотрела по сторонам, словно ища защиты извне, и прижав руки к груди, просто ждала – что будет дальше. Потоптавшись несколько, сердце отступило назад, встало на своё место, но долго ещё не могло успокоиться. Оно ворочалось, ворчалось, возмущалось чему-то...

Даже ночью, в пору, когда сон старается наскоро навести относительный порядок, сердце не желало подчиняться, но, положив ногу на ногу, нервно трясло своею ночной туфлём, из-за чего дрожь пробегала по всему телу.

Само собой, утром я была разбита, даже с постели удалось встать не с первого раза.

Пытаясь расхотиться, я переходила из комнаты в комнату, выглядывала в окна, но не была расположена искать в себе сил улыбнуться при виде, как кот, лис и олень завтракают из кормушки подле дома все вместе. Олень жевал капусту, кот рыбу, а лис – мягкие куриные косточки с кожей и прочими, оставленными специально для него частями.

Зрелище было милым, обнадеживающим, и в другое время я бы устроилась с овсянкой у окошка, дабы полюбоваться и разделить с гостями трапезу хотя издали. Но нынче никак не входило в лекало обыкновения. Оно выпирало за его привычные края, доставляя то беспокойство, которое называют предчувствием. По всем правилам и условностям бытия оно не обретает очертаний, покуда события, само течение жизни не укажет, что именно стряслось. И утро принесло-таки с собой вести, которые прояснили, что послужило причиной тревоги.

В те самые минуты, когда изнемогало моё сердце, захлебнулось небытием другое, моего любимого старшего братишки. Сын маминого брата был мне роднее иного родного. Наша разница в два года, и то, что я девочка, а он наоборот, не мешало нам во многом походить друг на друга.

По асфальту мы оба ходили вразвалочку, как матросы по палубе. Играли в разведчиков, ползая под кустами подле офицерских барачков Скруды, там же строили плот, чтобы сплавиться по реке Вента.

Колька часто держал мою ладошку в своей и играл костяшками, сжимая до боли, которую я терпела, лишь бы он не отпустил руки.

Промеж мягких верблюжьих горбов песчаных дюн, на берегу Балтийского моря в Вентспилсе мы пели, раскрыв объятия ветру и не пропуская ни одной ноты: «О, море-море!», а после пили томатный сок через трубочку в кафе, за окном которого море шелестело мягкими, зачитанными страницами волн.

В толчее автобуса по дороге из Скруды в Вентспилс, зажатые пассажирами, мы спали стоя, а Колька мечтательно обещал сквозь сон, что вот, когда мы приедем, то уж тогда и поспим на мягеньких постельках...

Не выехавшие ещё квартиранты постелили нам на полу.

– Ну, что, хорошо спим на мягеньких постельках? – беззлобно подтрунивал мой папа над племянником, и мы хохотали до колик в животе вместо ответа.

Даже спустя годы запомнился вкус прозрачной на просвет, вяленой мамой прибалтийской камбалы, которую мы с братом съели, не спросив у взрослых. Ну, разумеется, и получили после за то.

Как-то раз я лежала с высокой температурой, и совершенно неожиданно открылась дверь, а на там он, мой любимый братик. Надо ли говорить, что его появление подействовало лучше любых микстур? А однажды он сюрпризом приехал из училища на зимние каникулы, в военной форме, – красивый, весь в горошинах снежинок...

Мы часто были вдали друг от друга, но переписывались ещё чаще, и именно братишка научил меня игре на гитаре, и уверенности, что я – его младшая сестрёнка, которую он не даст в обиду никому.

...И вот теперь...

Есть ещё для чего порыбачить на берегу реки прошлого, но не всё сразу. Ибо, – очень больно и так.

Не она...

Закрутила зима серебряным холодным ключом пружину ходиков весны, тикают теперь, дают знать о себе с крыши капелью, тянут время тонкими перламутровыми стрелками, отбивают не часы, но мгновения. Которые скребут по-птичьи подоконник, а есть те, что дотягиваются до самой земли, да колупают её мокрым пальчиком: «Кап-стук, кап-стук, кап-стук!», – покуда хватает запасов снега и солнышку не наскучит топить из него сок.

Обитые бархатом инея сугробы при свете софита солнца кажутся ненастоящими, но истрёпанным в гастроях театральным реквизитом, сделанным из досок и обёрнутым так искусно, что похожи на настоящие, наметённые ветром кучи снега. Истёртые углы обнажили сбившуюся в комья набивку земли, ржавые пружины травы и остатки мышинных трапез. Любят грызуны барствовать, расположиться на мягком или в нём самом. Тут подойдёт и сугроб, и позабытый стожок сена, и земля со вплетёнными в её косы лентами корней травы.

То там, то сям, двойные строчки следов, Запоздалые попытки приодеть округу по последней моде, изменив покрой её зимних нарядов, приводят к тому, что расползаются некогда белоснежные одежды на серые лоскуты.

Эдак от тепла, оттепель. Не терпит весна ничего, что строго и бледно. Она, пожалуй, простушка, и даже грязновата, но по младости ей прощается многое. А вот когда образумится, притихнет, снимет с себя лишнее, разложит всё по местам... и будет уж не она.

– И что ж то будет? Кто?

– Как что? Лето!

До самого конца....

Когда слышишь об успехах современного чего-то там-строения, наряду с удивлением и гордостью за страну, в душе появляется невидимая, но осязаемая трещина, что портит всё дело, мешая прочнее утвердиться радости в сердце. Так, ежели в хрустальной вазе, изрезанной ровными гранями орнамента, на просвет обнаруживается вдруг едва заметный ущерб, – не скол, но некая пустяшная ворсинка в её наполненной окисью свинца сути, то сколь не сияла бы та ваза после, взгляд неизменно будет обращён именно туда, к изъяну, вызывая, к удивлению окружающих, одну лишь досаду.

Только чему удивляться? Всё просто, проще пареной репы. Жаль людей, которые отдали себя целиком чему-нибудь, и волею судеб, застали угасание интереса к любимому делу. Более того, они не смогли пережить сей разрушительный ход событий. И когда после ухода в вечность этих, самозабвенно трудившихся, в одночасье начинает восстанавливаться то, ради чего они, собственно, десятилетиями заставляли себя просыпаться по утрам... Это несправедливо. Как минимум.

У истоков разрушения чего-либо – люди банальные, недалёковидные, те, которые пекутся только лишь о своём благополучии. Они похожи на пассажиров, что рвутся к выходу, не дожидаясь остановки самолёта или на тех, которые бегут в гардеробную, в то время, когда, опустошённые откровениями из чужой жизни у всех на виду, выходят на поклон актёры.

Помню, как в детстве, после последнего киносеанса с началом титров зрители устремлялись к выходу. Набивались в проход, будто в автобус, и заправляя на ходу руки в рукава, задевали соседей... Лишь немногие оставались сидеть на своих местах. И хотя транспорт ходил не очень, и нужно было успеть на последний трамвай, иначе пришлось бы долго добираться до дома пешком в ночи, эти люди пропускали тех, кто торопится, вперёд. Спокойно застёгивали плащ на все пуговицы, потуже затягивали пояс, и улыбнувшись грустно слову «КОНЕЦ» на экране, брели, осторожно переступая островки подсолнечной шелухи на полу между кресел... Они шли потом, бодая сырой ветер, втянув голову в плечи, сопротивляясь вечерней, повсёгда неожиданной прохладе, что известными её одной тропами забиралась и под плащ, и под пояс...

– И это всё?

– Чего ж вам ещё?

– Что ж так коротко? О жизни надо долго, во всех подробностях и со вкусом.

– Зачем? Судьба не жвачка. Ты или помнишь сладость детской безмятежности и мятную свежесть измятых во младенчестве простыней, или жуёшь её, с брезгливой миной на лице, чувствуя неприятный резиновый вкус во рту. До самого конца.

В четыре руки

Гению не нужны прописные истины. Он топчется по ним, становится на цыпочки, скамеечку или даже устойчивую библиотечную стремянку, дабы дотянуться до самой верхней полки, в поисках высшего смысла, что непостижим для обычного человека среднего ума и телосложения. Но отчего же так? Ведь находит тот гений удовольствие в терпкости отвара кофе или пирогах с капустою. Они не во главе угла его видения мира, но ведь и без них как-то всё не так...

– Сдвинь бумаги, пожалуйста... – просит мать сына и ставит на освободившийся угол стола маленький поднос, на котором чашка кофе, крошечная хрустальная вазочка, полная вишневого варенья и пирожок. Сын не помня себя, с рассвета корпит над вычислениями, но не забывает благодарно улыбнуться матери, и жуёт, двигая ушами, как заяц, не отводя взгляда от тетрадей. Мать сидит тут же, на краешке банкетки, глядит на родное дитяtko с нежностью, от которой тает сердце и стекает слезами по щекам.

– Ма-ам?! – испуганно вопрошает сын, прекращая жевать.

– Нет-нет, ничего, прости! Это я так. Соскучилась.

– Так я ж всегда тут! – изумляется мужчина.

– А и всё одно... – улыбается сквозь слёзы старушка. – Ты кушай, кушай. Я посуду заберу и уйду. Не стану мешать.

– Да ты мне и не мешаешь! – горячо возражает сын, но мать знает своё место. Сын – профессор, учёный, а она кто? Так...

Когда тихой, незаметной почти тенью, мать выходит из кабинета, сын принимается было за расчёты вновь, но не может собраться с мыслями. Тихие слёзы матери не в шутку растревожили его. Мужчина бежит за нею вслед по тёмному длинному коридору, где на стенах висят его детский велосипед, лыжи, санки, жестяное корыто, в котором купали его в детстве – и догоняет мать уже в кухне.

– Что-то случилось? – пугается старушка.

– Да! – кивает головой мужчина, и, чтобы не пугать мать ещё больше, торопится добавить, – Случилось то, что я тебя очень сильно люблю, ма! И... давай сделаем вареников с вишней!

– Конечно, мой хороший, я сейчас. Ты иди, я принесу, как будут готовы! – радуется мать.

– Да нет! – обнимает её сын. – Вместе, как раньше, в четыре руки!

– Ах ты... мой маленький... – плачет старушка, пряча лицо у сына на груди, а тот роняет свои слёзы на её, зачёсанные дешёвым гребешком седые кудряшки, и в этих слезах куда больше смысла, чем посреди тех расчётов, на которые он тратит подаренную ему однажды жизнь.

Прописные истины. Это прописи, по которым мы учимся писать историю своей жизни так, чтобы её не стыдно было перечитать даже самому.

Место встречи у всех одно...

Правнук маршала, внук артиллериста, дошедшего до Берлина, сын военного... Бра-тишка... Как же так?

На прощании с дядей – его отцом, мы рыдали друг у друга на груди, а после, сама не знаю почему, я сказала: «Ты ж понимаешь, что мы больше никогда не увидимся...» И это был не вопрос.

...Хочется призвать на помощь моего отца, чтобы помог вспомнить – куда мы ехали тогда на списанном милицейском уазике. Колька за рулём, я позади, на удобных сумках с гидрокостюмами, придерживала акваланги, чтобы не бились друг об дружку. Отец за штурмана, руководил, указывая полукруглой широкой ладошкой, куда ехать. «Чтобы поближе к воде»...

Колька хорошо водил, уверенно, ловко, по-военному. А как иначе? Привычка. Обычно я пугаюсь ездить, а тут – нет, ничего, с ним мне было не страшно. Вот – нисколечко!

Ну, куда ж мы ехали-то? Позвонить бы, спросить. Да некому уже. Нет папы. Нет. К этому невозможно привыкнуть.

Как-то раз мы с братом сбежали на фильм «Детям до 16». Ничего особенного, «Семейный портрет в интерьере». Но получили после по полной программе. Оба. Лет через – двадцать пересмотрели, чтобы понять – за что, собственно, пострадали. Поглядели друг на друга, пожали плечами, потёрли отшибленные в детстве места и расхохотались. Ничего особенного.

Помню, если за ужином вдруг выяснялось, что «приехали наши», то уснуть было невозможно. Радость от грядущей встречи застилала разум, так что наутро я, не помня себя, бежала к бабушке, чтобы встретиться с братом и обнять его, обня-я-ять!!!

– Эй! Раздавишь! Смотри, как ты подросла... и сильная такая... Не, я серьёзно...

Мы не виделись годами, но... разве это важно? Разве это обстоятельство что-то решает?

– Я люблю тебя, братик! – кричала я в телефонную трубку.

– А мне больше ничего и не нужно знать. – отвечал он таким тоном, что я понимала – это именно так.

Мой дядя и мой брат, они далеко друг от друга... и близко, как никогда. Военные люди. Всё, как полагается. Там, где застала судьба. А место встречи у всех одно – небеса...

5 Марта 2024 года

СССР – Греция

Мы были советскими...

Мы были советскими или притворялись ими? По прошествии времени приходится признать тот факт, что идея строительства светлого будущего для всех, – прилюдно, напоказ одобрялась без оговорок, но в самом деле многие люди хотели жить «как все» или «не хуже других» -, прилагая усилия только лишь к понятному им самим, сиюминутному благосостоянию своей семьи, – сытого, одетого, весёлого собственного ребёнка, да супругу в нарядах, преисполненную довольства своим положением. Мало кто понимал, что от большого к малому выйдет скорее, чем наоборот. Но – как есть.

– Жизни не хватит, дожидаться этого вашего светлого будущего! – ухмылялись «проклятые частники», и не стесняясь никого, заправляли за ухо победитовое свёрлышко вместо карандаша. – В хозяйстве сгодится, – добавляли они, и краснея... от удовольствия, пронесли через проходную баночку краски в оттопыренном кармане пиджака.

Не понимая того, что даже если то бралось не для себя лично, – мало ли, – забор покрасить во дворе или общую скамейку, это было всё одно нехорошо. Всё равно – кража.

Помнится, однажды, от желания поддержать, подкормить, соседка подложила мне в карман рабочего халата пачку сливочного масла. Ей и в голову не могло прийти, что я не то. что побоюсь, но не захочу брать.

– Это же нечестно! – глядя на неё с искренним изумлением, шептала я в автобусе, что развозил нас по домам, на что соседка смотрела не понимая, о чём это я, и искренне расстраивалась:

– То ж излишки! Жаль, пропадёт до следующей смены.

Ну, и пропало. Растеклось, пропитав половину полы халата, стекло на пол.

Не к месту припомнились наполненные слезами глаза одноклассницы, что из даты в дату с привычным надрывом читала Исаковского. Чтица так искренне покрывалась бледностью и нервным ознобом, что невозможно было не сострадать и ей, и Прасковье, а заодно и самим себе... Жаль только, что года эдак через два эта же самая девица, бросив в угоду своему разгулявшемуся либидо дитя, приковала его к батарее, а сама... Выходит, то была одна лишь игра в патриотизм? Выходит, что так.

– Дорогуша! Причём здесь этот вопиющий случай? Она просто непутёвая мать. А вот жить прошлым, это вывих психики. Негоже профанировать настоящее в угоду тому, чего уж не вернуть.

– Так я и не собираюсь возвращать что-либо! Я открываю форточки сердец, распахиваю настежь окна душ, дабы свежий ветер правды ворвался в дома.

– А дальше что? Простуда?

– Осознание, что одного хорошего только для себя безумно мало, что надо всегда стараться сделать что-то для всех.

– Однако... Много на себя берёте!

– Так в этом и заключается патриотизм! В ответственности за других, как за себя.

Мы были советскими или притворялись ими? Я – по сию пору – да! А вы? Каждый из вас?!. Молчите... То-то и оно.

Немного перца

- Вам поперчить?
- Непременно! Перца много не бывает!
- Надо же, какой вы...
- Какой?
- Пряный.
- Только не говорите, что вы меня обоняли исподтишка!
- Скажете тоже. Просто витает подле вас эдакое...
- Молчите лучше, а то мы не знаем до чего договоримся. Будто я сто уж лет не касался мыла. Пойдёмте-ка, дорогой мой, подышим, поди засиделись взаперти, да у стола.

...Тянет душу «До» второй октавы, что распевает лес второй уж день... До излёта последнего месяца зимы ещё три седмицы и одни нелишние никогда, високосные сутки, а округа во всю, нисколько не таясь, страждет весны. Погода нервна до того, что бросает её из мороза в изморось по нескольку раз на дню, отчего норовят проезжающие съехать по хляби с дороги в канаву, а тропки трясутся неготовым ещё студнем на ветру. Видно в них и проваренные осенью косточки веток, и лаврушка берёз, и душистый перец лещины, и хрен выбеленной на солнце щепы...

...У забора в саду, промеж диким виноградом и яблоней, устроила опочивальню молоденькая косуля.

Козочка стрижёт воздух ушами по сторонам, готовая в момент стряхнуть с себя одеяло набитого сухой травой сугроба и бежать, подкидывая повыше стройный покуда круп худыми ножками.

Дабы не сделаться плоше прочих, не потревожить прибившуюся ко двору доверчивую оленушку, отводишь взгляд неспешно, и по собственным следам отступаешь спиной наперёд к крыльцу. Пусть её дремлет, в ожидании мамки Евдокии¹³. Та напоит водицей, осадит сугробы, укажет, где веточки пожиже да помягче, а там и свежей молодой травкой зеленой зелёного угостит.

И так налюбуйешься на мир, надышишься, что заходишь с улицы в комнаты, полные тёплого до спёртости воздуха, окуренного душистыми бумажками, и в голове делается некое кружение от неловкости, из-за сравнения не в пользу домашнего устройства и лёгкой от того дурноты.

Откровенные, вольные запахи простора, среди которых и горох, коим раскидывает подле себя косуля, дрожа помпоном хвостика, и прелая, скисшая сыростью, жёваная плесенью листва, – одно лишь благоухание, коим никогда невозможно надышаться вдосталь или впрок.

- Вам поперчить?
- Непременно! Перца много не бывает! А впрочем... как хотите. Мне, пожалуй, всё равно...

¹³ Евдокия, 1 марта, первая встреча весны

В самый раз

С рассуждающими об явлениях, что творятся на небесах, природа играет в поддавки. И сколь ни полагались бы те на собственные предчувствия, что зиждуются на ломоте в собственных членах и приметах, накопленных пращурами, – всё одно. Как не примеривайся, не гадай, но коли тычешь пальцем в небо, всякий раз попадешь не туда.

К примеру, ежели ранним мартом, да зарёю, солнце по-снежному бело, то это вовсе не обещает ясного дня с ручьями талых снегов, как слёз, по чёрным щекам земли. Будет выдано на день, полагающееся ему свыше: и мороза немалую толику, и с дюжину свечей тепла, и выжато над округой мокрого белья облака, – всего достанет. Ты только поспевай щерится в угоду светилу, изображая радость, скользя галошами по льду. Ну, а как не сдюжишь пройти по тропинке к деревянному сараю, да оступишься, так ещё и меняй после исподнее, суши портки подле жаркой, довольной собой печи.

Взопревшее оконные стёкла, будто разомлевший от пару банщик, держит набухшей от воды и работы рукой рамы кисею инея у пояса. Небрежно, без особой боязни уронить, обнажив скрытое нечто, неинтересное, впрочем, никому. Тот нетканый покров больше похож на плюш, чем на изыски тонко вышитых узоров, которыми славится зима.

Сам же, отороченный плющом дом, ровно игрушечный. Всякий его изъян, осыпанной алмазной крошкой изморози, уж и не ущерб вовсе, но прибыток, достоинство, краса, от которой не отвести взора, так домишко сделался хорош.

Что ж до погоды... Не в наших силах её изменить. Чем станет потчевать, от того и потерпим, – нам не впервой, пора бы уж и привыкнуть, и на надменный ея вопрос, как оно нам терпится, не нужно ли чего убавить иль наоборот, ответить с достоинством:

– Ничего не надо, благодарствуем. В самый раз.

Дачники

– Кстати... давеча вы, мой милый, упрекали меня в том, что я не видал шаровой молнии и не могу рассуждать об ней... Так нет же! Ночью я долго ворочался в постели, не мог заснуть, и всё, вероятно, для того, дабы память возвратила к пережитому, и оно предстало передо мной, прямо как вы передо мной тепер...

...Первая моя встреча с шаровой молнией произошла в ту пору раннего детства, когда я, едва перестав быть ангелом, кое-как примирился с появлением на свет и принялся обжигаться, привыкать, – ибо всё равно, надолго ли то счастье или на чуть-чуть, но существовать, всё же, приятнее с удобством понимания об себе, об своём предназначении, и расстараться расположиться промеж тех, кто тебя окружает, одновременно расположив их к себе, без особого ущерба и для себя, и для прочих.

Кто б тому научил, упредил про то, как надо, до всего приходится доходить самому, но, конечно, перво-наперво, следует искать знакомых, которых уже видел до того, – ну, вы понимаете? – с кем близок от веку. Хотя, признаться, то дело непростое, больше от удачи, нежели от последствий усердия и умозаключений. Чувственное-с, так сказать, это занятие, всё наощупь, по наитию, наугад...

Про успешность на то поползновений я лучше умолчу, ибо по натуре нервен, раним, хотя и не без стержня, отчего бесстрашен, коли за других, либо за Отчизну. В отношении же себя – слаб. Откровенно слаб.

- Помилуйте, эдак вы до ночи не закончите, а молния-то ваша где?
- Всё к тому и идёт, не торопите!

Так вот, привезли меня в имение к бабушке. Предоставили в полное моё распоряжение лужайку, чтобы мял босыми, да кривыми ножками траву, укрепляя телесное здоровье и меньше хворал от того. Сняли, понимаете ли, с меня обувь, – какую, простите, запомнил, помню, только, что ногам сделалось от земли так горячо, будто не на траву меня опустили, а на горячую сковороду, да жгут под нею костёр немаленький. Я в крик, меня на руки, проверить – не накололся ли обо что в траве. Так нет же – всё цело. Меня – стыдить, да заново ставить в траву, а я опять в крик – горячо, мол и страшно...

И помнится мне, небо сделалось вдруг почти черно, как бы кто прикрыл день крышкой, да прямо посреди лужайки, там, куда меня всё норовили поставить босыми-то ножками, возжётся яркий колобок. Точно таким бывает закатное солнце издали, – очерченным ровно, неярким, которое можно рассматривать, не боясь ожечь взгляда. И вот зависло это маленькое солнышко над поляной: румяное, наливное... Только я к нему пошёл, тронуть, так ли оно тепло, как глянется, а оно возьми, и исчезни.

Ну, я, понятное дело, в слёзы, а там и с неба закапало. Меня в дом, со всеми почестями, принялись расспрашивать,, как это я не напужался шаровой-то молнии. А мне-то и невдомёк. Что я там понимал. Светит ласково, горячим не брызжет...

- Мда... Дитя, оно дитя и есть. Но, только не в обиду,, – этот раз не в счёт.
- Отчего ж?

– Так по малолетству! Знали б вы, что оно такое, бежали бы, что есть духу, а то и вовсе лишились бы чувств со страху.

– Так во второй-то раз я уже постарше был, и то не испугался. У той же бабули случилось. Влетел огненный шар в открытое окошко флигеля, как раз к чаю. Все в ужасе, перешёптываются, велят не смотреть в ту сторону, не дышать.

– Ну, а вы чего ж?

– Да ничего! Слушать никого не стал, поднялся со своего места, прошёл мимо того шара, отворил окошко пошире и указал ему дорогу.

– Как это?!

– Очень даже просто. С поклоном. Вот, говорю, здесь вам свободнее будет. Проходите!

– А он чего?

– Ничего. Как мимо меня летел, замер подле лица, будто рассмотреть пытался или запомнить получше.

– И что потом?

– Ничего! Дальше полетел!

– В окошко?!

– Ну, а куда же ещё! Именно туда!

Сосед по даче недоверчиво поглядел на меня, но промолчал. Нам пора было расходиться по домам. Ветер только-только задул свечу заката, но как-то слишком скоро сделалось и сыро, и темно. Хотя над горизонтом, – миражом иль видением, долго ещё висел занавес неба, прожжённый то ли солнцем, то ли так похожей на него молнией, свернувшейся рыжим котёнком в клубок.

В ожидании весны

Рядом с дорогой дремал олень. Несмотря на то, что тот возлежал на открытом месте, на самом виду, он был совершенно незаметен и чудился не более, чем стаявшей под душем солнечных лучей кочкой. И так бы и не навлек на себя беду внимания, если бы не выдавшее его намерение переменить положение тела, потянуться, размять шею, дабы разделаться с весенними звуками, как с подсолнечной шелухой, стрекоча ладно притачанными остроконечными ушами.

Со стороны выглядело так, будто олень отдыхает, в самом же деле он встречал рассвет. Часто поглядывая в ту сторону, откуда из-за подоконника леса должно было показаться солнце, он нетерпеливо жевал губами, из-за чего создавалось впечатление, что олень шепчет молитву. О чём просил он – догадаться немудрено: всяк, кто поневоле терпит холод, ждёт тепла, голодный – сытости, а готовый любить – любви. А олень был готов. На Николу летнего¹⁴ ему должно было исполниться два года¹⁵, так что – вполне.

Олень казался себе наполненным соками жизни, что готовы выплеснуться наружу, хотя в самом деле до этого момента было ещё нескоро. Всего-то – пережить весну и лето. Олень понимал, что с порога, наперёд, оно всегда дольше, чем ежели обернуться назад, от того и вздыхал время от времени тихонько.

Замеченный уже проходящими и проезжающими с дороги, олень сделался беспокоен, но не решался уйти. И едва солнце лизнуло оленя в нос, оставив на нём сладкий розовый след, он, улыбнувшись ему в ответ, тотчас поднялся из сугроба, да потопал в чашу леса, – ждать. А посреди кроны спелого, но всё ещё юного сердцем крепкого дуба остался цвести цветок солнца, схожий с чертополохом и одуванчиком одновременно.

...Гребень сосуллек впивался острыми зубьями в локоны весны, расчёсывая её длинные волосы, что струились, касаясь земли. Солнце торопилось довести до совершенства ледяные скульптуры, оставленные зимой. Что ж до самой весны... В тени ночи сеяла она на округу пшеничную муку последнего снега и торопилась вспомнить песни, без которых весна как бы ещё и не началась.

¹⁴ 22 мая

¹⁵ у оленей половая зрелость наступает в возрасте полутора лет

Люк

Помню, ребёнком мне было любопытно всё вокруг, и вместо того, чтобы поспешать за матерью по каким-то взрослым делам, я мешал ей торопиться, с недовольным, капризным выражением вертел головой на четыре стороны, покуда не замечал нечто интересное, а приметив, тут же вырывался от неё, дабы проследовать, к примеру, за муравьями, что гуськом шествовали вдоль трещины асфальта и взбирались на посаженный недавно тополь через кованую решётку забора, как по тротуару.

Сам при этом я оказывался столь неловок, что мог зацепиться ботинком за ногу матери или собственную ногу, или за ту самую трещину в асфальте, да рухнуть в грязь, обрызгав и себя, и прохожих, не меняя, впрочем, настроения. Даже со дна самой глубокой лужи я невозмутимо продолжал следить за букашками, которым, понятно, не было до меня дела. У них, по обыкновению, всё своё: и заботы, и жизнь.

Но в три года, когда мать с трудом выучила меня, наконец, грамоте, всё коренным образом изменилось. Отложив ненадолго восторгаться природой, с такой же ненасытной жадностью я принялся выискивать знакомые буквы, что непостижимым, волшебным образом выстраивались в слова и звучали, обретая смысл. С глупейшим и важным видом я читал золотые таблички с фамилиями докторов, списки жильцов на жестянке у подъездов, передовицы в «Правде» и названия магазинов, не забывая при случае поправлять окружающих: «Какая такая «булоШная»?! Разве не видно, что там другая буква написана?! Др-р-ругая!!!» – неистовствовал я, но в виду отсутствия необходимого для раскатистого звука рычания, эти мои инсинуации выглядели по-меньшей мере потешно, если бы не сам факт картаво и бойко читающего малыша, что путал все карты.

– Вы что, заставили выучить его наизусть? – сочувственно осклабившись в мою сторону, приставали к матери соседи по очереди к детскому доктору, на что я, насупив брови, и едва не бодаясь, зачитывал всё, что попадалось на глаза: «Ухо-горло-нос! Фельдшер! Медсестра! Туалет!» Особенно хорошо выходили «Лаборатория» и «Прививочная».

Заметив однажды в руках дедуши поджидающего внука «Правду», я торжественно зачитал с самого верха листа, – «Родине! Ответим! Добрыми! Делами!»¹⁶, после чего испуганный дед свернул газету и спрятал её во внутренний карман пиджака от греха подальше.

Бабушка, служившая некогда учителем и даже заведующей школы, к моим поползновениям перечитать всё на свете, до поры до времени относилась с пониманием.

Но одним, самым обыкновенным полднем, когда мы возвращались с покупками из булочной, едва я кинулся к люку, что блестел медалью на пиджаке тротуара, дабы провозгласить во всеуслышание загадочные литеры на его рельефной стороне, бабушка вдруг остановила меня, ухватив за рубашку. Увлекая за собой, тихо морщась от сострадания, она поведала о соседской девочке, что «точно также» наступила на край крышки.

– И что с того? – расстроился я, потому как мне не дали разобраться с выпуклыми, приятными наощупь буквами.

¹⁶ Газета «Правда», Вторник, 4 января 1966 года, №4 (17321)

– Да то! – начала сердиться бабушка, – Перевернулась крышка, ровно монетка, упала бедняжка вниз, в колодец, и обварилась насмерть.

– Кто? – не понял я.

– Девочка! – теряя терпение повторила бабушка.

Девочки той я не знал, и не видел никогда, но соседки, что наваривши щей, да компоту и оставили их настояться к обеду, уже спешили вон из квартир, поправляя платки кулаком с зажатой в нём жмени подсолнухов. Выкатывая в запоздалом испуге глаза, женщины делились друг с другом неведомыми им подробностями, совершенно не прячась ребятни, что бегала тут же. Чаще прочего от скамейки, где сидели сплетницы, раздавалось «клячья кожи», из-за чего мне представлялся сваренный в кожуре картофель... и больше ничего.

Но на следующий день, когда мимо дома, под звуки траурного марша, раздирающего воздух, как душу, прошествовала похоронная процессия, я в ужасе бежал со двора, и поклялся не выходить из дому «никогда в жизни», даже под страхом не увидеть больше сказок «Кота Мурлыки».

А ещё через день приехала машина с краном и сгрузила на страшное место бетонные плиты, загородив и сам злосчастный люк, и подходы к нему. Впрочем, через щели между ними временами выбивались струи пара, пугая прохожих и местную ребятню, а заодно мешая навсегда позабыть о судьбе маленькой девочки, наступившей на незадвинутый кем-то люк.

Много позже, когда ужас осел на дне памяти и я стал выходить во двор, то поглядывая в ТУ сторону, где дышала горячим паром земля, я неизменно сокрушался. Эх, – думалось мне, – если бы та девочка умела читать... Ведь там же было на-пи-са-но!.. Но вот что именно, я так и не разузнал.

Без весны

Туман, что случился накануне, осел инеем на кронах деревьев. И омытый прозрачной водой рассвета, с каплей солнечного света будто бы лимонного сока, лес казался звонким, хрустальным, что придавало ему, и без того утомлённому морозами, хрупкости, нежности, изящества, чистоты.

Утомление шло к нему, ибо недолгая пора забвения о собственной немощи, что ожидалось вскоре, сменится после на буйство красок, к которому привыкаешь за малое время, так что делается оно незаметным, точнее – незамеченным. До пренебрежения, пожалуй. То обидно, но что важнее, – тотчас после листопада, принимаешься тосковать об утрате, горько и безнадежно страдаешь, как бывает при расставании со всяким привычным, разумеющимся, без которого себя не мыслишь, но кой само без тебя обходится легко.

Всяк толкует об весне, как умеет. Одним видится в ней больше счастливого, нежели напротив, хотя и мало в том правды, чаще – привычка, рассуждение. Однако ж не забывается повторять измятое прочими и про скорое возрождение, и про пробуждение с цветением... Да только сколь уныния прежде надобно превозмочь! Поди-ка, растормоши то дерево, из чьего дупла, ровно из уха, раздаётся птичье пение. Огрызенные косулями тонкие побеги, выклеванные птицами с голодухи почки, самый источник того, ожидаемого и благоухающего липкого цветения...

– Знаете, милейший, у меня создаётся такое ощущение, что вы не любите весны...

– Ну, так что ж? Разве моё отношение положит конец положенному природой ходу вещей? Всё идёт своим чередом: таяние стряхнёт оцепенение, навязанное зимой, а там, глядишь, отыщется повод улыбнуться и мне... Тогда-то и будет дело до всем понятных её переливов и прелестей, ручьёв и антрацитовому блеску слякоти. А весна... что весна? – Не тревожьтесь, она без нашего признания переживёт. Не то, что мы без её.

Сосна

Середина уж марта, а зима всё ещё ходит по окрестностям, собирает вещички, чтоб ничего после себя не оставить, никакой нечистоты или неудовольствия. То воду в канаве подсушит морозом, то укрепит перильца сугроба, что держатся на остове сухой травы, то придаёт прочности отполированному солнцем зеркалу льда на реке. И хотя не бывать ему теперь долго голубым, а всё ж не по-мышинному сер, не матово-бледный, не чайного цвету. Побелит его маленько, подморозит, и на том спасибо.¹⁷ Покуда ещё можно решиться, да перебежать на ту сторону, в пустой, не заставленный ещё, не занавешенный листвой лесок.

Широко шагает зима, торопится, оставляя разношенные следы на снегу. Походя скинет снег с крыши, тронет сосну, дабы принудить влажный тяжёлый сугроб съехать, наконец, на землю, да пожурит ещё:

– Нешто не видишь, как тяжко сосне?

– Так она ж ни словом не обмолвилась супротив, и не стонет!

– А тебе непременно,, чтобы с криком, да оземь, и лапу прочь? Чтоб рыдала тихо густыми слезами смолы?

– Так... ды-к... – краснеет сугроб, а под строгим холодным от ярости взглядом солнца, теплеет, сочится раскаянием, и ну бежать укоризны скорым ручьём... Но где там! – прихватит его мороз за рубашонку, будет после хрустеть тонкой лужи ледком, и стает без следа в вязкую дорожную пыль.

– Вот и поделом ему. То б в лесу, под кусточек, промеж мата сосновых игл, да ко грибочкам, а так...

Идут рука об руку февраль с мартом, беседуют чинно, а сосне жаль того сугроба. Ибо – сострадательна она, хотя на вид и колюча, от того-то и оставлена зелёной на все времена.

¹⁷ цвет льда по прочности от большего к меньшему: голубой-белый-серый – матово-белый – с желтизной

На все времена

А и пошёл весенний рассвет в лес. Да как почал шалить-разгуливать, выбирать, с чем бы позабавиться, над кем бы потешиться, и так, чтобы видимо-весело, и не ему одному.

Таки выбрал рассвет посреди дубравы рогатину – самый знатный весомый, в три обхвата дуб, ну и призвал в сотоварищи весенний ветер, дабы помог-потянул ветви долги-хлёстки-тягучи, да чтоб подальше от ствола. И покуда ветер тянул-помогал, изловчился рассвет вложить клубок солнышка, свитый из жарких ниток в ту рогатину, прицелился, сколь мог, ибо уж больно горяч оказался шар, да ка-ак вскинул его в небушко, изо силы всей, по мочи с умением, сверх меры, данной ему замахнулся. И полетел тот клубок кубарем, плавной дугой от востока с радости, к западу по принуждению.

Сугробы метлой метелей наметённые пыльны головы со страху с плечами стали ровнять, от стыда за перепуг сделались мокры, – дело известное, чем солнце ближе, они тем ниже. Вот уже и земля кое-где нага. О куриные лапы корней трутся льдинки, тают, а куриные лапы крон сами скребут промеж облаков, – и то до птиц, то до дождика царапают.

Изо дня в день те дерзкие рассвета игрища, по нраву, нет ли, а проку от них покамест больше, нежели безделицы. Да вот надо было так случиться, что не рассчитал сил однажды рассвет, и скрылось солнышко за неба хмарью. Стоят небеса в курчавой бороде кроны, печалются, деревья со стороны на сторону качаются и кричат по журавлиному, скоро уж месяцу пора видным с одного боку голышом возлежать на отмели ночи, а солнца, как и не бывало.

Придёт день, обернётся солнышко, но не нынче, ко времени. Да и не по злобе оно прячется, для острастки, чтоб играли, но не заигрывались, помнили и себя, и про то, что бездумье скрасит час, а позору оставит – на время. На все времена.

Не для себя

Исход снежной зимы. Для кого он каков. Кому – праздник, а которому слёзы. Супротив многоводья рек, вновь наполненных водой, пересохших некогда колодцев и сытых влажной полей, – растерявшиеся птицы с белками, что так и не смогли отыскать своих кладовых, голодные олени, зайцы, волки, да лисы. Среди прочих, потерпевших от бескормицы – лесные козочки, чьей стати меньше года или даже двух. Не войдя ещё в силу, они ослабли из-за несытости, так, походя, зима и расправилась со многими из них.

Повидал я всяких, но более прочих жаль, которые, забывшись сном, были не в силах подняться при виде человека. Устроившись на дне сугроба, они или прижимали голову плотнее к плечу, дабы миновала их чаша ненужного, бесполезного внимания, или изображали поползновение к бегству, либо даже в самом деле пытались бежать, но увязнув на первом же шаге, обрушивали свою немощь долу, и хорошо если удавалось попасть в прежнее, согретое немного углубление. А то и мимо, в новый холод, который отберёт последние силы жить...

О том размышлял я, считывая с троп и сугробов следы, чаще грустил, чем наоборот, и тут... я увидел её! Нежную, хрупкую, с тонкими худыми ножками косую, что в двух всего шагах от кустарника сделались незаметны, ибо по стройности один в один были похожи на любой из пучков его стволов.

Малышка не торопилась уйти. Сквозь близкое расстояние, что разделяло нас, она отыскивала в моём взгляде то, человеческое, что позволило бы ей не растрачивать сил на бегство. И если во мне она была почти что сразу уверена, то в собаке, что неизменно сопровождала меня на прогулках – конечно же нет.

Едва я уловил сие, смущающее козочку, обстоятельство, то улыбнулся ей ободряюще, и поманив собаку кивком, развернулся к дому. Через пару шагов я повернул голову, рассмотреть косую. Она тихонько брела к тому месту, где только что были мы. Солнце довольно сильно ослабило корсет наста, обнажив голое тело земли, и вблизи дороги оказалось полно мест, откуда вполне можно было набрать пригодного для весенней трапезы сенца.

Признаться, я не сторонник торопить события, но глядя, сколь жадно обрывает неподатливые прошлогодние травинки козочка, я мечтал, чтобы скорее уж: и тепло, и свет, и зелени вдоволь. Не для себя. Не для себя...

Струны

На свете много разных людей. Одни укрепляют подшев¹⁸ основ мироздания, другие живут сами по себе, ради себя, в стороне, но, впрочем, до поры до времени. Случись что, они пополнят ряды упомянутых первыми. Иные, вовсе – как бы посторонние миру: желают здравствовать, если у них в чём нужда, а другим часом пройдут мимо, не сочтя нужным знаться.

А есть ещё люди, чьё существо устроено на манер струн. Ими бренчат походя бездушные, бездельники или расчётливые, а то и подлецы, – поглядеть, как мучаются те от чувств, страданием полюбоваться. Трогают выпачканными, жирными от всеядности руками, а то накрутят на палец, и цепляют той самой струной за всё, что ни попадя. Слушают, как натужно, на надрыв, гудит она. И ведь не остановит никто, не попеняет. Чем-то занят, и ладно, а эта... Пускай терпит, коли не может иначе никак.

Впрочем, иногда играть на струнах берутся вполне себе добрые и порядочные люди. Из лучших побуждений. Во благо. Дабы не останавливались на достигнутом и не прозябали на обломках прежних заслуг. Про то, что лучшее – злейший из врагов хорошего, отчего-то не помнится. То, быть может, всё подобное – для прочих, но не для тех, над кем измываются из стремления отточить их усердие, вылепить на свой манер понимания сути добра и его противоположности.

– Вам не стоит тратить свои нервы понапрасну... – говорят им порой сочувственно, пугаясь внезапной бледности, гримасы горя и проступивших на глазах слёз.

Только, позвольте... как?! – перестать звучать струне. Ведь до той поры, покуда не обрвётся насовсем – никак.

...Жизнь стаивает глыбой льда. Солнце, облизывая его горячим, раздвоенным языком лучей, позволяет разглядеть вмёрзшие в сердцевину, зелёные совсем, пахучие сосновые шишки, остроконечные сусальные листья, коими без счёту сорит по осени клён, стайку крошечных серебристых карасиков и горсть ягод калины вперемешку с божьими коровками, что будто веснушки на щеках звонкой, прозрачной, кристально-чистой души...

Жизнь стаивает глыбой льда, оставляя после себя...

¹⁸ фундамент

Будем!

Ручьи теней, что тянулись с востока от самого самого горизонта, с головой выдавали рассвет, кой с каждым разом всё больше и больше отвоёвывал у ночи, отчего дни делались просторнее. Тёплые платки облаков, в которые кутались они прежде, теперь всё чаще лежали скомканными промеж сугробов, чьи белые щёки, покрытые чёрной щетиной пыли, вызвали некое брезгливое чувство, что посещает часто после буйного, безоглядного веселья, затмившего ненадолго разум. Беспмятство, известно, – лучший товарищ шальных, сумасбродных и бестолковых. В старину их причисляли к сбреховатым, наделяя тем многими грехами разом, дабы не тратиться на перечисление, да не вводить себя тем самым во грех злословия.

За рассветом, само собой случилось утро, засим, в крупный горох снегопада, появился полдень. Косули, что лениво, напоказ пугались людей, радовались этому последнему снегу, как некогда перевозносили первый. Вообще же, всяк живущий отдаёт от себя много внимания почину и завершению, а всё промеж делается как бы само собой, да тят-ляп или со тщанием, – это уж кому на то какое разумение дано. Либо по совести, либо ей поперёк.

Ветер ходил по лесу, сбивая вязаные шапки птичьих гнёзд с ветвей на землю. То ли не жалел чужого труда, толь взывал к покорности, – всё одно выходило некрасиво, не по-людски.

Солнце с неодобрением поглядывало в его сторону, но не оставляло прибирать округу, заодно отыскался потерянный барабан дятла, и тот сразу принялся дробить дробно небеса. Не позабыло светило и про синиц, что непрестанно просили, то купаться, то пить. – натопило им побольше снегу для всех утех... Так и провозилось солнце до самого вечера, когда заря, по примеру братца рассвета, тщилаь развлечься теми же ручьями теней, да только вот выходило хуже, нежели у него. И, обвалявшись в каприз, рассердившись, заря повела себя совершенно по-бабски: выставила солнце вон и заперла за ним дверь.

Одна радость – рассвет возьмёт от ночи своё, и поднявшись раньше прежнего ещё на чуток, примется за дело, и вновь забьют ручьи теней вдоль просек и поперёк косовых...

– И нет той силы, что остановит их?

– Будем надеяться, что нет...

Чёрно-белое кино

Фойе кинотеатра кипело очередью к кассе. Отец, зажав синие билетки в руке, заметно волновался, а матери всё не было.

Мимо нас ходили люди, и некоторые, завидев заветные билеты в руке отца, с надеждой спрашивали: «Лишний?!»

– Нет. – краснея играл желваками отец в ответ, а я спешил добавить, выкрикивая для убедительности каждое слово:

– Мы! Ждём! Маму!

Ибо мне казалось, что нас с папой могут не послушать, и вырвут билетки из рук, и убегут в охраняемый билетёром дверной проём, а мы останемся ни с чем.

– Ну... и где ты была? – проговорил отец кому-то в толпе, из-за чего я понял, что мама уже на подходе и он заметил её, приближающуюся к ступеням кинотеатра.

От мамы всегда хорошо пахло «Лесным ландышем», и вся она была наглаженная, чистенькая, аккуратная, в накрученных бигуди кудряшках.

– Ну, почему ты так опоздала? – добивался отец у жены, на что та, возмущённо тараща голубые глаза, отвечала:

– Как тебе не стыдно! Мы же договорились к шести!

– Нет! К половине!

– Я отлично помню, во сколько!

– Ну, как же... Да, что там... – махнул рукой отец. – В пустой след...

– Если так,, то мы можем вовсе не идти! – нехорошо улыбаясь, негодовала мать...

А тем временем уже прозвенел третий звонок, и большая часть зрительного зала была заполнена. Кто-то разносил скрипучее сидение, иные отвоёвывали у соседней подлокотники, прочие оглядывались по сторонам, выискивая знакомых, дабы обменяться улыбками.

Поджидая опоздавших, билетёры стояли с безразличным видом, привалившись к дверному косяку, давали отдых натруженным, чёрным от типографской краски, рукам. Отрывать корешки входных билетов – то ещё удовольствие. От входа в фойе было хорошо видно кафе кинотеатра, где пара счастливых наспех соскребала алюминиевыми чайными ложечками со дна металлических креманок пломбир, политый лимонным ликёром. Оттуда же, из кафе, раздавалось уютное жужжание миксера «Воронеж», в огромных алюминиевых стаканах которого взбивали в пену молоко с вишнёвым сиропом.

Позабылось уже, – мирное ли жужжание или мой умоляющий взгляд тому виной, но возмущённые друг другом родители решили оставить скандал на потом. С оборванными мимо линии отрыва билетами мы поторопились занять свои места, и даже успели разыскать их, не отдавив многих ног в междурядье, покуда хрустальное семицветье огромной люстры под потолком не потухло насовсем.

На белом полотне экрана мелькали цветные кадры кинокартины, но мне отчего-то расхотелось следить за тем, что происходило там, с чужими незнакомыми людьми. Я искоса поглядывал на подбравшую губы в недовольной полуулыбке мать и заметно расстроенного отца,

да грустил о том, что не удалось посмотреть ни минутки из чёрно-белого документального фильма, снятого отцом, что впервые крутили перед киносеансом в тот день. Хотя бы прощальные титры, совсем маленький хвостик, я был бы рад даже им.

Новая старая жизнь

Из детства, среди многих, затерявшихся во времени запахов, мне особо запомнился запах свежих... газет!

С самого утра у окошка деревянной будки Союзпечати выстраивалась очередь страждущих новостей товарищей, которая, после недолгой, но приятной беседы с газетчиком, расходилась на два ручья. Один вливался в поток рабочих, что скрывался за каруселью вертушки проходной, а другой задерживался на частом решете скамей трамвайной остановки.

Рабочие сворачивали газету в трубочку, дабы усладить свой взор и разум во время законного перерыва, а служащие часто не могли дотерпеть до обеда и начинали читать прямо в трамвае. Сунув остальные газеты подмышку, словно градусник, одну разворачивали, расставив руки будто для объятий или несколько по-рыбацки, и принимались жадно водить глазами по строкам, проглатывая абзац за абзацем, столбец за столбцом.

Соседи по трамваю не роптали сей помехе, не считая то за неудобство, за исключением, впрочем, тех моментов, когда...

– Погодите, товарищ, переворачивать, я не дочитал!

– Да уж давай, скорее, не задерживай, будь другом, листай дальше, а то мне на следующей выходить!

Свежая газета!.. Завернуть в неё, нечитанную ещё...

– Что?

– Да что угодно! – Считалось немислимым, кощунственным почти.

– Ты не брала? – вопрошал дед у супруги, едва сменив пижаму на приличное домашнее, дабы выйти к завтраку, и, не дождавшись даже ответа, шёл проверять почтовый ящик, чтобы сразу после яичницы и чая со свежими ватрушками почитать, заодно убедиться вновь, – в стране полный порядок, всё идёт так, как надо, ну и не без личной неприязни, в полном своём праве, как фронтовику, обозвать сволочами тех, кому не живётся спокойно на этом свете.

– Мы – за мир, мы всегда на стороне добра, а это всегда приводит в исступление иных, которые по другую сторону, и тянут всех за собой. – горячится старик, а жена, придумывая что приготовить на обед, шепчет, как молитву: «Лишь бы не было войны...» Ей некогда читать газет. Только книги, и сразу как переделаны все дела, которых не переделать никогда. Как многих из людей.

Среди населения самой читающей в мире страны бывали и такие граждане, которым больше нравилось смаковать газету, начиная с передовицы, другие начинали с объявлений или фельетона. Кто-то сидел с газетой дома в кресле, иной у стола под лампой, выписывая из статьи в тетрадку для памяти, некоторые перечитывали на свежем воздухе, наклеенные на специальные деревянные щиты, прибитые прямо к стенам домов газетные листы мокли под дождём, из-за чего страницы путались, смывались до несвежей, поза-позавчерашней, а то и до деревяшки. Сверху каждого щита размещалась узнаваемая, резная надпись: «Правда», «Известия»... Расклейщик газет не мешкал, всегда поспевал вровень с почтальоном, к тому же, от отделения до ближайшей стены – рукой подать. А коли на велосипеде...

Раз в неделю, помимо ежедневных изданий, на своё собственное место клеили «Крокодил», и подле него всегда подолгу стояли не только взрослые, но и детвора. Журнал любили и за его самого, улизнувшего от Мойдодыра, за меткие надписи, да за смешные рисунки про

разжиревших заокеанских толстосумов, их воинствующие настроения и устремления привести в подчинённое положение все государства вокруг.

– Не сочиняй, пожалуйста!

– Не понял... Да любой октябрёнок тех лет умел отличать хорошее от плохого получше иного, почитающего себя взрослым теперь! Разве не так?!

– ...

Запах свежей газеты... Мягкий, сладковатый, податливый, менее острый, нежели аромат новых, неразрезанных или нечитанных книг.

Это потом уже, позже намного, мне довелось почувствовать на собственной шкуре тяжесть газетного дела во всех его ипостасях. Напитаться редакционным духом и очернить руки типографской краской, принимать, как новорождённого, выпуск очередного номера, готового прямо к рассвету нового дня. Но всё выходило как-то слишком обыденно, а мечталось-то ощутить того смещения чувств новизны, тайны и предопределённости. Утерянного по недоразумению, так казалось... да и по сию пору кажется точно так!

...Но мнится всё, как услышишь однажды поутру шуршание в почтовом ящике на двери, а там...

– Старая газета?

– Новая старая жизнь...

Весь в розовом рассвет...

Весь в розовом рассвет. Ручьи теней струились от горизонта, устремляясь в никуда, к бездне полудня, где пересыхали, и, обращаясь в точку, исчезали вмиг, в миг, сходный с тем, что надобится вееру ресниц, дабы освежить взгляд.

Округа согревалась понемногу на медленном огне весеннего солнца. В небе не было ещё той бездонной голубизны, что ожидается от сей поры, но одна лишь безмерная бледность, которую скрашивали чахоточный румянец утренней и вечерней зорь.

Казалось, мир находится на пороге того времени, когда во всяком «как-нибудь после» очевидно и отчётливо слышится «никогда». Пугает ли это? Не уверен, ибо не верится, по всей видимости, никому. Таковы они, странности бытия...

Летающая мимо муха кажется теперь недоразумением, появившийся ниоткуда комар, что вьётся над сосновой веткой дымком потухшей свечи, словно бы только чудится. Да в меру ли тех чудес с потрясениями, не хватила ли весна лишку?! Неужто не в её силах было сделаться разом тою прелестницей, в венке из цветов, предвкушением встречи с которой напрасно истрачена добрая половина зимы? Почто шаткость в походке, неуверенность в манерах и собственно себе самой? Не снесла возложенных на неё надежд, как напраслины, не иначе.

Весь в розовом рассвет. Горка из зефира облаков в хрустальной вазе небес вызывает улыбку и протупающая на губах от того сладость не кажется неуместной или преждевременной.

Так вот она – весна. Она не в буйстве и яркости зелени, но в предвкушении, что куда как обширнее того, что случается в самом деле.

Весь в розовом рассвет...

Для отдыхающих...

– Не трогай! Это для отдыхающих!

Очень часто, собираясь потянуть на себя дверь некоей едальни, я вспоминаю эту фразу, и отдёргиваю руку, благоразумно рассудив перетерпеть голод или жажду до лучших времён, либо до дома. Ну, а ежели и тех, и другого ждать слишком долго, обхожусь извечным, проверенным сочетанием хлеба и воды, а подчас, если повезёт, – белого молока и тающего во рту, белоснежного же, лёгкого хлеба.

В пору гласности и негласного, но осязаемого разрушения нашей страны, когда была потеряна навсегда любимая работа, а с нею и распланированное на годы вперёд будущее, я познакомилась с лёгчиками малой авиации. Ребята совершали полёты над полями, рассыпая удобрения и средства для борьбы с вредителями, – в зависимости от времени года. Мне было интересно сопровождать эскадрилью, знакомиться с новыми местами и людьми, пока однажды, спутав мой интерес к миру с личным, между мной и одним членом экипажа не возникла ссора, после которой он отвёз меня в лес, где высадил, и, хлопнув дверью машины, скрылся.

Подозреваю, что поглядывая в зеркало заднего вида, несостоявшийся герой-любовник злорадно хохотал, подозревая во мне растерянность. Но я была б не я, если бы тратила время на подобные вещи.

Оглядевшись по сторонам, я отыскала протоптанную тропинку, порешив, что если она не заросла, то доведёт-таки куда-нибудь. Так и произошло. Довела! Затёртая шагами нить дорожки привычно юркнула под калитку чёрного хода турбазы, и мне ничего не оставалось делать, как последовать за нею, идти в обход было далеко. Только вот пробираться пришлось не понизу, по-кошачьи, а через верх, потому как дверца была заперта на коричневый от ржавчины, будто бы сделанным из дерева замок.

Оказавшись на территории, я отправилась на поиски столовой, и очень скоро она нашлась, но не по аромату свежеспеченных ватрушек, а по запаху горячих вафельных полотенец, коими обматывают ручки гигантских алюминиевых кастрюль с чаем, дабы сдвинуть их с не менее громоздкой плиты.

Зайдя вовнутрь, я напрямик направилась на кухню. Юркий, субтильный поварёнок в колпаке набекрень и с карандашом, заправленным за ухо, легонько хлопал себя тетрадкой по лицу, словно стараясь что-то вспомнить.

– Мухи замучили? – вместо приветствия поинтересовалась я, и парнишка, как выяснилось позже – шеф-повар заведения, весело рассмеялся:

– Ага! Нет! Думаю просто!

– Как из килограмма мяса сделать котлет на всю смену?

Парнишка поглядел на меня, и, кивнул:

– Почти!

Как оказалось, он не врал. Студенты кулинарного техникума проходили практику, работая на кухне турбазы, заодно постигая все тонкости поварского искусства, главной среди кото-

рых была урвать побольше себе, сохраняя видимость полноценного трёхразового питания отдыхающих.

Но в тот момент я не имела представления о кухне этой кухни, а посему, решила ковать, пока горячо, тем паче, голова дня неуклонно клонилась к подушке заката, и мне надо было как-то устраиваться, определяться, прибиться к месту, чтобы дать себе возможность обмозговать своё положение, ну и, если получится, заработать на дорогу домой, в общем – расколоть фигуру простого пилотажа¹⁹, в которой оказалась по воле судьбы, как по недоразумению.

– Работники на кухню нужны? – с нажимом спросила я.

– Ещё как! – ответил шеф, и поинтересовался, – Документы есть?

– Нет! – честно ответила я, и кратко обрисовала ситуацию, в которой оказалась.

– Надо же... – изумился парнишка. – Каков козёл... Ладно. Что-нибудь придумаем. – пообещал он, и утром следующего дня, в белом халате на голое тело я уже стояла у раковины, сгребала с тарелок объедки в ведро, а после отмывала их с кальцинированной содой.

Тарелки скрипели под руками, а чистая вода утекала в слив, вместе с остатками брезгливости.

Работать пришлось посменно, неделя через неделю, с пяти утра и ... пока не будет вымыта последняя кастрюля и не отгёрт досуха кафельный пол, то есть – освобождалась я почти в полночь, и наскоро выстирав белый халатик, падала в обморок глубокого сна. Но тем не менее, каждое утро ровно в четыре я поднималась и бежала на речку, где плавала, играя с рыбами и лягушками, да дразнила уток, отталкиваясь ото дна и выныривая у них перед носом.

Помимо мытья посуды, приходилось лепить сырники, нарезать хлеб, чистить овощи и делать много чего ещё, о чём позабылось, но не из-за слабой памяти, а от испытанного однажды негодования. В тот день шеф попросил меня поработать ещё и официанткой. Когда все приборы были разложены на столы, мне выдали кастрюльку с некоей, пережёванной на вид массой, и попросили распределить это, «по шести ложек на каждую суповую тарелку».

– А что э т о такое? – поинтересовалась я.

– Фрикадельки! – гордо сообщил шеф-повар.

Залитые горячим из половника, на глазах у изумлённых отдыхающих, эти самозванные фрикадельки растворились в крошку, а мне хотелось провалиться сквозь землю от стыда.

– Я так не могу! Это нечестно! – прямо сказала я, возвращая белый халат на кухню, ибо в моей жизни, до этого случая, тугие мясные шарики фрикаделек метались по прозрачному бульону, обгоняя золотые медали жира и серебряные – мясного взвара, что рвался вверх со дна, выложенного весёлыми ломтиками моркови и картофеля.

Уходя, я не стала забирать честно и тяжело заработанное. Для меня это было бы сродни воровству. А до города довезли, – как и всех, на служебном автобусе.

... Узнав про то, чем я занималась, отец был рассержен и разочарован.

– Не для того ты училась в университете. – просто резюмировал он этот, постыдный по его мнению, эпизод моей жизни.

¹⁹ пикирование, пике – от французского «колоть»

И всё же... По сей день я с улыбкой вспоминаю игру в салочки с рыбами и лягушками на рассвете, да удивлённое выражение лица уток при моём появлении из-под воды перед самым их клювом. И до, и после они мирно дремали в заводи, пропуская реку бежать перед собой вперёд. Как чужую жизнь, течение которой несёт в себе немало видимого и незаметного сора. Видимо-невидимо. Иногда даже себе самому.

Я учусь...

Я учусь смаковать настоящее. Это непросто. Этому действительно приходится учиться.

Хотя некогда был он, вероятно, тот навык – ощущать всем своим существом вкус момента, дышать его неповторимостью, тающую вместе со временем прелесть жизни, которая, может, именно в этой мимолётности, в том, как ускользает оно всё, подобно шёлковому подолу прелестницы, ухватившись за которую едва, не можешь удержать.

В страхе перед действительностью происходящего, со смятением, сметающим и сердце, и душу, чувствуешь, каков он, подол бытия под пальцами, да как делается горячо и больно из-за его торопливости, из-за очевидности его исчезновения. Чем заметно дальше от рождения, тем гуще чувства, вываренные на огне ветшающих страстей.

Выхолощенный потерями, едва живой, ты бросаешься во все тяжкие, но не также, как было то в юности, не с тем неосознанным неисчерпаемым жаром, а как выходит, как можется нынче, – дабы собрать по крохам, из остатков причин радоваться каждому новому вздоху и дню. И неизменно находишь их. Пустячные для самоуверенных, уверенных в своём бессмертии беспечных пройдох, иным они – отрада, особенно заплутавшим в себе, искренним, наивным, беззащитным перед уготовленной участью...

По терпким следам обретённого, познаётся нечто важное, отыскивается затерянное в прошлом и удаётся заново, – пусть не прожить, но пережить его, с неизменным ненужным теперь, напрасным чувством сожаления о потере и неловкости в нужный, минувший давно час.

И сегодня, как никогда, – снег вкусно хрустит сухариком под ногой, а впереди, переваливаясь лениво, крутит восьмёрку дебылым крупом косуля. Вроде, как на сносях.

Случайная встреча

Всё никак не могу забыть, как однажды автобус, в котором я ехал по своим пустяковым делам, распахнул двери прямо перед Катиним-Ярцевым²⁰ и как-то неловко, непочтительно навис над ним ступенью Хиллари...²¹, преодолимой с трудом. Юрий Васильевич был невысок, а посему, не думая ни секунды, я кинулся, дабы помочь ему взойти, и тот с такой ласковой улыбкой принял мою руку. Обволакивающая мягкость, приветливость, которую излучал он, тут же позволила мне почувствовать себя счастливым, и стало понятно, что имеют в виду, когда говорят: «Глянет – рублём одарит». Вместе с тем, было такое, совершенно определённое ощущение, что не я ему помогаю, а он мне.

В автобусе Катина-Ярцева, кроме меня, к счастью, никто не узнал. И это было приятно, ибо невнимательность, замкнутость прочих на себе, дала мне невольно возможность побыть избранным, тем, которого предпочли всем остальным.

Мне не приходило в голову просить автограф, я не лез первым с разговорами. Мы просто ехали рядом, как заговорщики. Я хранил его инкогнито, и он был благодарен за это. Юрий Васильевич направлялся в Московский драматический театр на Малой Бронной не из дома, не с Большой Никитской, а с телеграфа. Улицу Герцена²² он называл Большой Никитской из уважения к истории родного города, хотя сам почти всю свою жизнь знал её только под именем родоначальника отечественной политэмиграции.

Хотя совместная поездка была недолгой и чисто технически не могла считаться таковой, но оставила тавро воспоминаний на всю жизнь, так вышло. Не нарочно.

И... это не о том, «как я прикоснулся к знаменитости», но об умении любить, дарованном немногим. О выстраданном, заслуженном праве покровительства, милости, благоденствия в отношении окружающих, мимолётных знакомцах, попутчиках, – всех-всех, кто повстречается на пути.

Впрочем, мимолетье – то не про него, не про Катина-Ярцева. Это ж сколько должно быть в человеке той истины, того неподдельного чувства, чтобы через расстояние во многие годы я хранил у сердца тепло и радость, которым оделил меня он. Походя? О, нет. Между прочим, не отдаваясь минуте всем существом, без остатка, так не выйдет.

Случайная встреча, да всё никак не могу забыть. А и надо ли перечить в этом судьбе?..

²⁰ Юрий Васильевич Катин-Ярцев, Москва (1921-1994), актёр, театральный педагог

²¹ Крутой, почти вертикальный склон горы Эверест, высота 13 метров, гребень из снега и льда, окружённый отвесными скалами. Назван в честь новозеландского исследователя и альпиниста Эдмунда Хиллари, который совершил своё первое восхождение на юго-восточный гребень горы 29 мая 1953 г

²² Большая Никитская улица (в 1920–1993 годах – улица Герцена)

Любовь

Эмаль низких облаков, сколотая местами до звёзд, имела грустный, небрежный или скорее – неряшливый вид. Сколь не приглядывайся, не роняй шапку с темечка, а бледные белесые даже, неясные, в разнбой, точки всё никак не складывались в привычные очертания созвездий, как и мозаика самой ночи не укладывалась никоим образом в привычную рамку зорь.

Порождённый этим беспорядок причинял беспокойство, бессонницу и сопереживание тому земному трепету, что принимают часто за необоснованную зримым предлогом тревожность, догадаться о причинах которой, не имея к тому способности, либо навыка прозорливости, не представляется возможным.

Туман же сумерек, как ни тщился, казался лишь дымом или, скорее, паром, вырвавшимся из распахнутой настежь двери зимней бани, остывающей поспешно, дабы соответствовать моменту, не портить холодного тона общей картины, что пишет природа промежду осенью и весной, от зимнего пути до весенней распутицы.

Налюбовавшись вволю чужой маемой, утро решительно стянуло нетканый покров с неба, забелило сколы звёзд, оставив, впрочем, для примера одну, да не на выбор, а всякий раз прежнюю, – утреннюю.

Лишь на растрескавшуюся кроной глазурь дубравы у горизонта, не достало ни белил, ни отваги, ни умения. Впрочем, рассвет, что подоспел вскоре, на то не пенял. Он пообвыкся с непостоянством обличия, черт лица и настроения той, которой не переставал любоваться многие уж века. Люба была она ему. И с этим ничего уж нельзя было поделать.

Что бы он мог...

Убаюканная на качелях ветвей сосны, ночь дремлет с узкой, лукавой от того улыбкой месяца на устах, и снятся ей туманности, кометы, звёзды. Кружится калейдоскоп небосвода, а белые сверкающие стёклышки упрямо складываются на свой собственный манер в созвездия, не желая меняться в угоду тысячелетиям, эрам, векам...

– Ага, как же! Изменяются со временем даже они. Просто, я слишком часто вижу с ними, чтобы заметить это, а вам... Какая разница, какими они были раньше, и сделаются через годы? Любуйтесь теперь, коли есть охота.

Ветер прислушивается к беседе, не понимая – с кем это ночь так откровенна и разговорчива. Обычно спросишь её о чём-то, да после уйдёшь, так и не дождавшись ответа, а тут...

Юркнув под арку просеки, над которой нависли, сгорбившись ивы, ветер из любопытства заглянул в лицо ночи. Он не ослышался. Синие её губы двигались, шепча что-то, совсем невнятно, из-за чего слов было нельзя разобрать. Ночь, как догадался ветер, разговаривала сама с собой. Да и с кем бы ей было, впрочем. Все бегут от неё скорее в круг света от фонаря на тротуаре или освещённое очагом тепло дома, где не стоит ждать подвоха, или что выйдет вдруг из тени некто страшный навстречу. Что же до звёзд... Когда им, бедолагам, глядеть наверх. С земными бы делами разобраться поспеть.

Филин охал подле ночи, успокаивал, хлопотал почти до той самой поры, когда рассвет прорисовал простым карандашом верблюжьи горбы сугробов, кроша на них грифелем. Ветер бегал без толку тут же, крутился под ногами, не зная, чем подсобить. Да и что бы он мог... мальчишка!

Гонка

Мне пятнадцать с небольшим. Гоню на шоссейнике²³ по окружной, тянусь за Уралом. Руль мотоцикла с коляской в крепких руках нашего тренера – Лукашиной Марии Дмитриевны²⁴. 24- кратная чемпионка СССР по велоспорту, бронзовый призер чемпионата мира, рекордсменка мира и Заслуженный мастер спорта СССР.

Замыкая отстающих, телепается на «Москвиче» второй тренер, заодно любезничает с фельдшерницей, что катается с нами не по своей воле, но по долгу службы.

Я так часто и высоко поднимаю коленки, что, кажется, ещё немного, – или собью с головы уши, или взлечу. Носки ботинок вдеты в туклипсы²⁵, словно в стремяна. Крутить педали легко, как никогда. Брат матери, инженер-конструктор авиазавода, спроектировал пресс форму, смастерил алюминиевое крепление ботинка, теперь ногу от педали абы как не оторвать, разве что с нею вместе.

Качусь с таким чувством, будто остановилось время, звуки отстали и остались в прошлом. Показалось, что цепь, игнорируя звёзды шестерёнок, повисла безвольно, но нет. Три вращения педалями назад на носках для проверки, – порядок. И снова вперёд, не чувствуя усталости, подставляя щёки ласковым рукам ветра, и не потому, что я – первое колесо юношеской сборной, а впереди маячит Чемпионат России, а просто, – юность позволяла опереться своё крепкое плечо.

Как оказалось позже, кроме неё, сделать это было больше никому.

Когда мы вернулись с трассы на базу, вахтёр тётя Дуся, что не слишком жаловала меня прежде, – ей не нравился мой пацанский вид, мальчишеская причёска и нелюбовь к платьям, – в тот раз как-то очень жалостливо поглядела, подозвала и сказала тихонько: «Танечка, тебе тут из школы звонили. Попросили передать, что на уроки можно не идти, беги-ка сразу домой.»

Машина скорой помощи у подъезда объяснила причину внезапного расположения ко мне тёти Дуси. Я забежала на наш этаж, и увидела распластанную на кровати, недвижимую мать. Тающие слезами глаза были единственным признаком того, что она жива.

Отец стоял тут же, брезгливо скривив губы.

– Па-ап...

– Нет уж, увольте. Сама-сама! На меня не рассчитывай. – отмахнулся отец, оставив меня с мамой наедине.

Ну, что ж. Хотя бы так. Обычно из дома приходилось уходить нам. Отец избивал маму с завидной регулярностью, и не каждую ночь удавалось проснуться в своей постели, а, пожалуй, что через раз.

...Мамы не стало в мае, а в июле мне исполнилось восемнадцать. Больше двух лет безуспешных попыток... Поднять её на ноги? Да нет, я понимала, что это невозможно. Просто

²³ велосипед-шоссейник времён СССР

²⁴ (7 апреля 1932 года, Новая Усмань – 17 апреля 2014 года, Воронеж)

²⁵ приспособления для крепления ног велосипедиста к педалям

хотелось, чтобы мама была рядом, всё равно – в каком состоянии, лишь бы здесь, неподалёку, единственный родной человек.

Когда отец узнал, что стал вдовцом, он-таки вернулся, но только, дабы кинуть на стол деньги и сказать фразу, которую мне теперь ни за что не забыть: «Закопай её, и чтобы я о ней больше ничего не слышал.»

Не знаю, как у других, но мама никогда не приходит ко мне во сне, но часто снится, по-другому, иначе. Мне всё ещё нет шестнадцати, и я кручу педали шоссейника, да так быстро, что он отрывается, от земли и летит над дорогой, над Уралом с коляской, над нашим двором. И я точно знаю, что где-то там – мама, она стоит у окна, ждёт меня со школы домой.

Само по себе...

Собачий хвост метался промеж незримых препятствий в воздухе на манер метронома, никак не медленнее Presto²⁶, коего так страшатся нерадивые студиозусы, развенчивая собственное звание усердных, питающих страсть ко всяческим наукам, преданных им и до собственного конца стоящих на их стороне.

Впрочем, то, что у итальянца «быстро», русскому – «очень быстро». Да то только в музыке. На деле же русский куда как более расторопен, коли есть охота к какой работе.

Пёс вертел хвостом не просто так, но не из лести, не из корысти или в надежде получить сладкие, отложенные специально для него, нетронутые никем куски. Он отлично знал о моём к нему расположении, и теперь, водрузив тяжёлую голову на скамейку рядом, внимал. Я не жаловался ему на жизнь, не сожалел притворно и громогласно о собачьей неприкаянности, я проговаривал ему вслух свои стихи.

Незадолго перед тем, сочтя рифмы неказистыми, стыдными от того, рукописи были собственноручно изорваны в мелкие, нечитаемые клочья. И теперь, словно насмехаясь надо мной и самовольно присвоенной важностию, стихи заговорили сами. И, судя по хвосту, верно отбивающему ритм, они были скверны лишь во мне, но вне, выпущенные на волю, казались ... вроде бы, ничего.

Честно говоря, ни одного из них до той поры я не знал наизусть. Но вот явились же они вновь, и требовали быть записанными, и тревожили, не отпускали от себя, покуда не сделаю того, что должно.

Пёс, убаюканный рифмами, из вежливости оставался стоять, и не поддавался на уговоры прилечь у ног или на лавочке. Будь у собаки настоящий хозяин, один только её вид мог бы привлечь к себе завистливые взгляды многих, ибо пёс был широк в кости и имел короткую густую белую шерсть. Припудренная серой пылью, она была похожа на медвежью. Не один скорняк, проходя мимо, пытался подманить пса, но оскал сорока двух белоснежных зубов всякий раз останавливал эту подлую затею.

Характер, повадки, да просто то обстоятельство, что это собака, не давали спокойно спать ночами, но увы, мне не разрешали привести её домой. Приходилось навещать как можно чаще, не доедать самому, оставляя собаке то, что повкуснее. Успокаивало лишь то, что она была при деле, жила в сторожке у ворот стадиона, знала порядок и вменённые ей обязанности, слушалась сторожей, но держала себя с достоинством, была свободолюбива, а хозяином выбрала меня.

Дело было на излёте Советской власти, когда немногие помнили, что «бывает иначе», и расходовали свои жизни в рамках советского строя, с уютным, правильным, удобным настоящим и понятным светлым будущим, ради которого, собственно, и затеялось некогда само по себе бытие, что течёт, кажется, само по себе, без усилий извне, и надрыва собственных жил.

²⁶ итал. «быстро», в России – «очень быстро»

Красивые люди

Много теперь красивых людей вокруг. Раньше их тоже было немало, но, стоило выйти во двор, среди соседей находились и однорукие, и те, что попирали землю культёй ноги, пристёгнутую к протезу, похожему на ножку стола. Не знаю, каково им, бедным, приходилось поодиночке, за дверями комнат, но квартиры были коммунальные, соседки сердобольные, а уж во дворе в домино играли и вовсе безрукие, – кивнут, бывало, товарищу или сынишке, какую кость выкладывать... Всего и делов-то...

В воскресный, праздничный по всем статьям день, случалось, объединялись два гармониста, сядут, боками прижмутся тесно, как воробышки зимой, – у одного левая рука цела, у другого правая, – и такие коленца отыгрывали, – улица замирала. Бабы в передниках бросали стирку и варево «на после», выходили послушать. Стоит, такая, щекой на ладошку навалится, пригорюнится и плачет, не таясь. Мужики утирались рукавом, и в общем, тоже не особо стеснялись своих слёз.

С детства я не спутаю одноглазого, даже если он без чёрной повязки, закрывающий затянутый кожей провал глазницы, а со стекляшкой под свой цвет. Те подвоха ждут с той стороны, откуда не видно, косятся. Думают, незаметно, а мне видать, нагляделся.

Не испугаюсь я человека со смятым рубцами ожогов лицом. Есть нечто поважнее внешнего, внешности.

В блокноте, рядом с астрономическими значками небесных тел, у меня лежала переписанная азбука Морзе и азы языка жестов глухонемых. Морзе на всякий случай, а глухонемые столь громогласно размахивали руками, выходя из дверей вечерней школы или из проходной, так счастливо смеялись им одним ведомому смешному, что хотелось проникнуть в этот их, такой счастливый, на первый взгляд, мир, примкнуть к нему ненадолго.

Помню, как радовался белобрысый парнишка, когда заметил интерес с моей стороны. И уж так расстарался, разговорился, помогая себе и лицом, и мычанием, что вскоре стало понятно, о чём были весёлые ручные беседы. Да всё про то же, «за жизнь». О ней только так и можно – с радостью в сердце.

Много теперь красивых людей, но все они не идут ни в какое сравнение с одним соседом по детству, что оставил нижнюю половину туловища на фронте, в Великую Отечественную, и катался после Победы на деревянной доске с колёсами, перестукивая по дрянной дороге деревянными колодками, как копытцами, от дома до рынка, где ваксой чистил проходим тупли. Бывало, вскинет на тебя подведённые пылью глаза, – прожигало насквозь. Силы в нём было – немерено, а уж доброты...

Послевоенным было у нас детство, как ни крути. Не таким, конечно, что у наших родителей, которые пережили голод, бомбёжки, но вот, досталось, однако, и нам: и нужды, и следов, – той, военной поры.

Радовать собой

На днях птица местная, да залётная, зело ловкая по части ловли мух, зарянка²⁷ явилась пред ясны очи. Дерзко как-то, стремительно. Вспорхнула с облака, да присела прямо на окошко. И выпятив малым широким колесом золотисто-малиновую грудь, глянула с вызовом, будто спросила: "Не ждали?! А я-таки здесь! Не соскучились, небось, других привечали?!"

– Привечать привечали. – не стал упорствовать я, – А что до «не соскучились», неправда. Стосковались мы по вам, любезная птаха, да ещё как... – начал было витийствовать я, дабы потрафить самолюбию птицы, а её-то уже и след простыл. Ни сотоварок неподалёку, ни сотоварищей, лишь стайка воробьёв взметнулась пылью к небу, а больше ничего. Как и не было той зарянки, вроде привиделась, и только.

Одно ясно – то был парнище в малиновой манишке, ровно в пиджаке. Призывал трепетать пред ним, лебезить, угождать и преклоняться, прижимаясь к земле²⁸.

Чай, обознался, за птицу принял, либо всё одно – перед кем кичиться.

Устрашал, сколь хватило сил после перелёта. Покуда не сдюжил, не пошли мы к нему в полон²⁹ на поклон, выстояли. Чай не малиновки мы, люди, коли помним про своё звание и стремимся с поклоном, навстречу малиновому перезвону церковных колоколов, что откликаются навстречу всякому утру, кой бьёт по серебряному колоколу небосвода золотым языком солнца, дёргая за привязанные к нему лучи...

– Прилетела, значит, зарянка-малиновка. Весну принесла. Шуму теперь в лесу будет... И спозаранку, и в ночи. Голосистые оне птицы, прилежные.

– Ну, оно и хорошо, не дело это по жизни, да всё молчком, да втихаря. Радоваться ей надо, радовать собой!

²⁷ лат. *Erithacus rubecula*

²⁸ Описано поведение самки малиновки в брачный период. Только оценив многократно подтверждённую покорность, самец её допускает на свою территорию

²⁹ Плен, неволя